

Алексей Иванов

ТОБО

The title 'ТОБО' is rendered in large, stylized white Cyrillic letters with black outlines. The letter 'Т' is a simple vertical stroke with a pointed bottom. The 'О's are filled with intricate geometric patterns: the first has a diamond and cross motif, and the second has a floral-like pattern. The letter 'Б' is a simple block letter. The second 'О' is also filled with a pattern. To the right of the letters is a detailed illustration of a silver compass.

I
Тол

Тобол

Алексей Иванов

Тобол. Том 1. Много званных

ООО "Эвербук"

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Иванов А. В.

Тобол. Том 1. Много званых / А. В. Иванов — ООО "Эвербук",
2017 — (Тобол)

ISBN 978-91-8062-539-5

В эпоху великих реформ Петра I «Россия молодая» закипела даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары – все они вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-пеплум «Тобол». «Тобол. Много званых» – первая книга романа.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-91-8062-539-5

© Иванов А. В., 2017
© ООО "Эвербук", 2017

Содержание

Пролог	5
Часть первая	9
Глава 1	9
Глава 2	14
Глава 3	19
Глава 4	24
Глава 5	28
Глава 6	35
Глава 7	41
Глава 8	48
Глава 9	53
Глава 10	58
Глава 11	64
Глава 12	70
Глава 13	75
Глава 14	80
Часть вторая	85
Глава 1	85
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Алексей Иванов

Тобол. Много званых

Роман-неплум

Пролог Мертвец

Пьяный Пётр промахнулся ботфортом мимо стремени и едва не упал, но удержался за луку седла. Сашка Меншиков тотчас без колебаний рухнул коленями в лужу, поднял обеими руками заляпанную грязью пудовую ногу императора и вставил носком сапога в стремя, а потом, натужно хохотнув, посадил государя на лошадь. Лизетта, соловая кобыла, стояла смиренно и лишь подрагивала хвостом – она и не такое видала. Пётр разбирал поводья. Меншиков незаметно от царя вытер ладони о шелковистый бок Лизетты.

Конечно, государь перебрал мальвазии на галере, пока вместе с Сашкой плыл от Адмиралтейства к причалу Троицкой набережной, но он всё равно бы напился – не на галере, так в Коммерц-коллегии у Апраксина. У Петра опять нестерпимо болел живот, словно дьявол сидел в брюхе и накручивал кишки на локоть. Пётр знал: эта боль заполнила бы всё тело и даже голову, а теперь хотя бы из головы её вытеснил дурной и тяжёлый хмель.

На адмиралтейские верфи Пётр ездил посмотреть, как идёт тимберовка «Леферма» – потрёпанного в боях французского фрегата, который в Лондоне приглянулся Федьке Салтыкову, и Федька его купил. «Леферм» шесть лет ходил на Балтике, потом его перегнали в Петербург. На Неве с корабля сняли все пушки и мачты, две палубы, фальшборты и обшивку выше ватерлинии, а корпус кабестанами выволокли на стапель. Деревянная туша фрегата, зияя пустотой между шпангоутов, покоилась на опорах-кильблоках под мелким ингерманландским дождём. Рядом с мокрой громадиной морского корабля Пётр чувствовал свою человеческую мелкоту. Величие корабля всегда по-юношески волновало его, даже теперь, когда терзала боль. Федосейка Скляев, адмиралтейский строитель, устроил государю визитацию «Леферма». Петру приятно было видеть упрямое муравьиное копошение работы, густо облепившее фрегат: десятники орали и размахивали руками, грузчики поднимали на таях длинные тёсанные доски, плотники приколачивали бортовины, конопатчики стучали колотушками. На царя никто не обращал внимания.

С верфи Пётр отправился в Коммерц-коллегию, где его ждал граф Апраксин. По Неве государя везла сорокавёсельная шхерная галера. С её косых латинских парусов стекала вода. На открытой корме был установлен балдахин, и Сашка Меншиков угощал Петра обедом с мальвазией и музыкой. Холодный осенний ветер гнал по реке тугую волну, балдахин хлопал и махал кистями, задранную корму галеры обдавало порывами водяной пыли. Несчастных шведов-музыкантов мutilо от качки, усатый скрипач порой проскальзывал смычком по струнам, и скрипка взвизгивала. Пётр пил из кубка и смотрел на просторную мрачную Неву: галеры, шлюпки, карбасы, плашкоуты с грудями мешков, вельботы, караваны барок, идущие с Ладоги, голландские шнявы, два новых фрегата с вьющимися на ветру флагами, длинные вереницы плотов с домиками плотогонов... С грузного прама, пришвартованного у Петропавловской крепости, бабахнули три пушки: может, учения, а может, увидели на галере брейд-вымпел императора.

На дощатом пирсе Троицкой набережной Петра ожидал продрогший эскорт – адъютанты, вестовые, офицеры гвардии. Растрёпанные отсыревшие плюмажи торчали, как цветное сено.

Подсаженный Меншиковым, Пётр с трудом взобрался в седло и оглянулся на галеру. Усатый скрипач-швед уже метнулся к борту и свесился над водой, раскорячив ноги: его тошнило.

Императорская кавалькада двинулась к зданию Коллегий.

– Сашка, поди поближе, – окликнул Пётр.

Меншиков сразу же подъехал, широко улыбаясь, словно ждал похвалы. Копыта лошадей чавкали по слякоти.

– Почто у тебя музыканты – шведы? – устало спросил Пётр. – Я же приказал: как заключим мир с королём Фредриком – всем пленным воля.

– У меня не шведы, государь, – тотчас отпёрся Сашка. – Я сих молодцев у Покровского монастыря в Пскове откупил.

– Думаешь, я русскую рожу от шведской не отличу?

– Не отличишь, государь, – убеждённо сказал Меншиков.

Пётр вытащил из-за отворота рукава исписанную бумагу, скомкал её и швырнул Сашке в плутовскую морду.

– Они мне жалобу сунули, когда ты за руль встал. Плачутся, что ты у них пашпорты в свой шкатул запер и держишь их тут беззаконно.

Меншиков обиженно надулся.

– Ты сам в Сенате нам говорил не спешить шведов отпускать, ежели они мастерство знают!

– Так то про корабельщиков и оружейников сказано! – злобно рявкнул Пётр. – Не про твоих свистоплясов! Ради своей потехи ты императорским словом зад подтираешь?

– Прости, Алексеич, – виновато сказал Меншиков. Физиономия у него сразу стала несчастной. – Я думал, семеро бандуристов – велика ли беда?

Пётр только бессильно дёрнул лошадь за поводья.

Лизетта спотыкалась в грязи, и её рывки отзывались в животе Петра толчками тупой боли. Пётр уже осознал, что эта болезнь убьёт его. Не спасут ни амстердамские лекари, ни марциальные воды. Он видел немало смертей – в петле, от пыток, под топором палача, от осколков гранат, вспоровших тело. Он знал, что содержится внутри у человека, и у него внутри такие же потроха, как у всех. И он тоже умрёт, и довольно скоро, и ему было очень страшно превратиться в труп, как превращались многие знакомые ему люди. И всё же у него была надежда уцелеть, выкупить себя у бога.

Выкрутился же этот шельма – Сашка Меншиков. Три года назад Пётр хотел его судить за воровство и казнить, и Сашка от ужаса пал в перины и сам чуть не сдох. Он не притворялся, а по-настоящему захаркал кровью; его корёжило в припадках и трясло от лихоманки. Врач сказал, что у него «феба» в груди, и пора его соборовать. Пётр у одра простил грешного друга – и Сашка вдруг исцелился. И вот он опять рядом, и пьёт, и баб портит, и ворует.

Сашку исцелил он – царь, помазанник. А его самого исцелит царство. Империя. Он достроит свою империю, и бог его помилует. Империя – это фрегат, который увезёт его из болезни. Его спасение и награда. Пётр понимал, что верить в такое – наивно, однако надо же было во что-то верить. Вот мореплаватель Магелланус уверовал, что земля круглая, и поплыл на запад в неведомый простор, отказавшись поворачивать обратно: дескать, ежели вера его истинна, он вернётся домой с другой стороны мира, а ежели вера ложна, то пропадёт чёрт знает где. И он, Пётр, тоже как Магелланус.

Троицкая площадь была полна народу. Офицеры, чиновники, солдаты, извозчики, матросы, денщики, посыльные... Разодетые иноземцы стояли на галерее аустерии под большой вывеской с портретом Петра и курили трубки. В приземистом Троицком соборе шла служба. А железный купол собора – ржавый, заметил Пётр. Говорил же он Сашке поменять железо – и что?..

По периметру площадь окружали деревянные дворцы: Сенат, Синод, таможенное казначейство, коллегии. В центре – так, чтобы из всех казённых окон было видно, – возвышалась виселица, и на ней висел растрёпанный полуистлевший мертвец. Булыжная вымостка на площади, набитая десять лет назад, уже пришла в негодность: зыбкая земля местами просела, булыжники выщербило из кладки, наводнения натащили грязь. Повсюду вольно распростёрлись размашистые бурые лужи, через которые там и сям были перекинуты корабельные трапы. В глубоких выбоинах застряли несколько карет на больших и тонких колёсах. Кавалькада Петра еле продвигалась по колдобинам.

– Сашка, ты обещал к распутице брусчатку сделать, – сказал Пётр.

– Я на то четыре барки камня в Твери заготовил, – сразу пояснил Меншиков, – а они в гагаринском канале под Волочком на мелях застряли, никаким льдом не стащить. Пришлось до водополюя ждать подъёма.

– Врёшь. Ты берег у своего дворца ими укрепил. Своровал, значит.

– Да я за всякую копейку душой клянусь! – загорячился Меншиков.

Пётр не ответил. Он угрюмо разглядывал мертвеца на виселице. Голова казнённого была свёрнута набок; чернели провалы глазниц, расклёванных вороньём; зияла гнилая дыра на месте рта; из тряпья, точно коряги, торчали распухшие чёрные руки и босые ноги. Уже и не узнать в этом адском чудовище бывшего человека. А ведь в прежние годы Пётр очень его уважал. Думал, что может опереться на его плечо – такой не предаст. Предал.

– Хочешь рядом с ним, Сашка? – Пётр кивнул на висельника.

– Я тебя накормил, Лексеич, опохмелил, а ты меня за горло, – опять обиделся Меншиков. – Не по-царски это.

Петру безразлична была обида Сашки. Меншиков – такой же вор, как этот висельник. Вся разница – что ещё живой.

– Знаешь, Сашка, чего желаю успеть, куда меня бог не приберёт?

– Чего? – настороженно спросил Сашка.

– Тебя как его вздёрнуть. Ты же одной с ним породы. Все вы мне опаскудели. Вы хуже бородатых.

Меншиков смолчал, не ответил – слишком серьёзен был Пётр.

А Пётр думал, что он умирает, а его город засасывают чухонские хляби, а его империя нужна только ворами. Никуда его прекрасный фрегат не уплывёт из этой ижорской болотины, если его не спустить на большую воду. Пётр вспоминал «Леферм» на адмиралтейской верфи. Люди вроде Сашки Меншикова или того мертвеца на виселице – они будто кильблоки под «Лефермом». Фрегат нужно строить на кильблоках, но потом их надо убирать, вышибать из-под судна, иначе корабль не сойдёт со стапеля.

Пётр направил Лизетту прямо к висельнику. Меншиков опасливо ехал на шаг позади. Кавалькада следовала за императором в тихом недоумении: зачем государь двинулся к этой мерзости? Пётр приблизился к мертвецу, остановил лошадь, вытянул из седельной кобуры длинноствольный пистолет и толкнул повешенного в сырое заплесневелое колено.

– Босой висишь? – издеваясь, спросил он у покойника. – Сначала ты сам воровал, а теперь и с тебя сапоги украли.

Мертвец покачивался от толчка, словно не желал отвечать. Вдруг прокисшая верёвка лопнула, и мертвец рухнул. Он тяжело шлёпнулся в лужу под виселицей, плеснув грязью. Петра обдало смрадом разложения. Лизетта испуганно шархнула в сторону и трянула государя, так что он чуть не вывалился из седла. В животе у Петра бултыхнулась острая боль. Офицеры и гвардейцы эскорта мгновенно выхватили шпаги и палаши.

– Тихо, Лизет! – прохрипел Пётр, стукнув лошадь пистолетом по шее.

Болело. Болело. Болело. Пётр бросил пистолет на землю, кряхтя, слез с лошади и облокотился на седло. Когда стоишь, меньше режет... Сашка тоже спешился и подошёл к Петру с кожаной флягой в руке.

– Может, глотнёшь ренского? – с сочувствием спросил он.

Пётр повернулся, морщась, оттолкнул Меншикова, шагнул к мертвецу, лежащему в луже, и, не шадя себя, пнул покойника в бок.

– Ах ты иуда! – выдохнул он.

Движения разжигали боль, и Пётр яростно пнул мертвеца снова, а потом ещё и ещё. Мертвец дёргался в луже, словно был живой, а на виселице только притворялся мёртвым. Офицеры смотрели на государя с ужасом.

Боль раздирала внутренности, лицо Петра покрыла испарина. Меншиков мелко крестился. Пётр с ненавистью харкнул на мертвеца, вырвал из руки Меншикова флягу с вином и приложился к горлышку. Он уже не берёт себя. Он сам запрыгнул в седло, словно стал молодым и сильным, и оглянулся на свой эскорт.

– Сего изменника поднять и обратно на перекладину! – властно приказал он, указывая пальцем на труп посреди лужи. – Токмо теперь на железную цепь, дабы не истлела! И пусть три года висит всей державе для примера!

Офицеры эскорта выпрямились в сёдлах и, не находя слов, салютовали императору шпагами.

Пётр пришпорил кобылу и поскакал напрямик через площадь к зданию коллегий. Меншиков взлетел на коня и поспешил за государем. Мертвец остался лежать в луже под ингерманландским дождём. Его закостеневшая скрюченная рука торчала из грязи, будто мертвец благословлял императора.

Часть первая Пришедшие и взявшие

Глава 1 Шествие побеждённых

Они шли на восток бесконечно долго. В заунывном однообразии пути можно было поверить, что земная твердь скоро незаметно пойдёт под уклон, и они, идущие на восток, потихоньку окажутся уже в пределах преисподней. Но преисподняя никак не начиналась. Впереди под тучами один за другим медленно проступали из холодной снежной мглы какие-то сизые горные хребты, и всё продолжалась, всё тянулась, всё не заканчивалась эта непомерная Россия, неизбывная и неотвратимая, как Страшный суд.

Туда, в бездны России, брели вереницы пленных шведов. Санные дороги ползли сквозь глухие и непробудные леса, катились по льду неизвестных рек. Хлестал выюгами тоскливый март 1711 года. По заметённым трактам в Сибирь шагали подданные короля Карла XII. Король гордо называл себя последним викингом, но никакие викинги, ни первые, ни последние, никогда не забирались в такую немислимую даль: в страны Гога и Магога, в царство псоглавцев, в гибельную Гиперборею, за пределы Ойкумены.

Среди пленных были безбровые от артиллерийского огня канониры, у которых под стенами Полтавы полопались перекалённые стрельбой орудия. Были рослые гренадеры, которые на дымных лугах Ворсклы расшвыряли во врагов все свои гранаты, а потом бежали, обезоруженные. Были иссечённые шрамами мушкетёры, которые на редутах отбивали русские атаки, воткнув длинные штыки-багинеты в горячие стволы мушкетов. Были усатые драгуны, у которых перед ретраншементом царя Петра картечью перебило лошадей. Были надменные офицеры, которые с поля боя отступили до берега Днепра и, достигнутые на переправе летучим русским корволантом, сдались, бросив свои шпаги под копыта казачьей конницы.

А ещё в Сибирь уходили обозники шведской армии. Они спасались бегством после поражения короля и увязли в болотах, заблудились в лесах. Это были повара, фуражиры, конюхи, лекари, писари провиантской службы, оружейники, фурманы, покинутые господами лакеи, цирюльники, бабёнки-маркитантки, солдатские жёны и вдовы, которым без войска некуда было приткнуться, полковые потаскухи, музыканты и карточные шулеры.

Их всех ждала Сибирь. В каморке московского Фельдт-комиссариата Табберту довелось-таки поговорить со старым графом Карлом Пипером, начальником королевской походной канцелярии, и граф, качая париком, грустно поведал, что их, каролинов разного калибра, в русском плену тысяч двадцать, а то и тридцать. Целая армия. И царь Пётр безжалостно отправил её осваивать дикие окраины своей неизмеримой державы.

Филипп Юхан Табберт фон Страленберг, капитан Померанского полка принцессы Ульрики Элеоноры, был отправлен на поселение в город Тобольск в составе команды из сотни военнопленных и десятка солдат конвоя. В зашитом кармане камзола Табберт нёс на груди рекомендательное письмо графа Пипера ольдерману шведской общины в Тобольске – капитану Курту фон Вреху. Команда Табберта вышла из Москвы уже год назад; в мае 1710 года шведы добрались до города Вятки, он же – Хлынов, и застряли там до Рождества. Русские власти не выплатили конвойным солдатам жалованья, а шведский Фельдт-комиссариат не выслал пленным денежного содержания, обещанного королём и риксдагом. Ссылным и их охранникам оставалось просто сдохнуть с голода, поэтому они нанялись работать на пашни и покосы богатых монастырей Вятки. Осенью вятский комендант Степан Траханиотов нажаловался новому

сибирскому губернатору князю Гагарину, что шведы не уходят в Тобольск, потому что у них и гроша на дорогу нет, а сидят в городе в съезжей избе и пьянствуют, поганцы, со своими нищими сторожами. Князь Гагарин был женат на дочери коменданта и внял жалобе тестя: прислал триста рублей на провиант и одёжу – дал шведам в долг из своего кармана.

И вот теперь пленные шагали по ледяной дороге реки Вишеры, по старому Сибирскому тракту – так зимой было ближе до города Верхотурье. Табберт догадался, что эти покатые лесные кручи вокруг с заснеженными скалами на вершинах – легендарные Рифейские горы, о которых рассказывал Птолемей, только нет здесь ни мрачных киммерийцев, ни свирепых скифов. Здесь живут русские, а страна здешняя – окраина Великой Татари.

Табберт оглядывал своих товарищей. Уже и не узнать воинов короля Карла. Лица тёмные, обветренные, распухшие от холода. Многодневная щетина. И солдаты, и офицеры одеты в русские обноски: рваные армяки, облезлые полушубки, зипуны и тулупы, у которых прорехи выворачиваются грязной овчиной наружу. Камзолы – под рваньём. Поверх чулок и коротких штанов-кюлотов надеты плотные крестьянские порты. Башмаки с медными пряжками все шведы давно обменяли на войлочные сапоги с кожаными подошвами. На головах – жуткие русские треухи. Впрочем, Табберт и сам обматывал голову бабьим платком, но поверх всё равно водружал треуголку с кантом. Пускай жизнь скотская, нельзя превращаться в скотов.

Русские солдаты ничем не отличались от шведов, даже свои ружья они свалили в обозные сани, в которых везли провизию и скарб. Заиндевелые лошади тоже казались пленными. В их гривах и хвостах блестел лёд.

Краем уха Табберт прислушивался к ворчанью солдата Цимса, который придирался к жене – стройной, красивой и замкнутой женщине.

– Бригитта, я знаю, ты прячешь серебряный риксдалер, отдай его мне!

– У меня его давно уже нет, Михаэль, – сдержанно отвечала Бригитта.

Табберту не нравился Цимс. Здоровенный тупой рыбак из Сундсвалля, нанявшийся в армию, чтобы грабить и насиловать. На войне он начал много пить и даже в плену исхитрился найти себе пойло. В начале пути Табберта удивил его мундир: прорехи старательно заштопаны женой, но галуны ободраны, и вместо тридцати двух оловянных пуговиц со шведским львом – десяток деревянных русских пуговиц. Цимс пропивал всё подряд.

– Ты потеряла мои рукавицы, Бригитта. У меня мёрзнут руки. Это дикая страна, я её ненавижу. Отдай мне свои чулки из шерсти, я натяну их на руки.

– Не отдам. Я видела, как ты проиграл рукавицы в кости, Михаэль, – негромко и терпеливо отвечала Бригитта.

За Цимсом и его женой шли два русских солдата – старый и молодой. Старый солдат – его звали Савелий – на ходу курил трубку, а молодой – Юрка – грыз сухарь. Табберт уже неплохо понимал по-русски.

– Савелий, где сегодня ночлег?

– За Писаным камнем деревня. Вёрст пять ещё.

– На постоялом дворе или по избам?

– По избам.

– Давай затащим Бригитку к себе? Хорошая баба. Сначала ты мне её поддержишь, потом я тебе подержу.

– О чём-то, кроме баб, ты умеешь думать, Юрка?

– Старый дурак ты, Савелий, – огорчился Юрка.

– Это ты дурак. Ты на войне бывал?

– Ну, не бывал, и что? Я в Воронеже царское плотбище охранял.

– А они все бывали, – Савелий вытащил из-под усов трубку и указал чубуком на шведов. – Они живых людей кололи и рубили. Ты хочешь их обидеть? Ежели они забунтуют, нам не отстреляться, понял?

Табберт снисходительно усмехнулся. Что русские, что шведы – все они здесь ссыльные и подневольные. Плена нет, есть странная необходимость прожить часть жизни в этих отдалённых и гиблых краях. Так распорядился фатум. Ему, капитану Табберту, тридцать пять. Он в расцвете сил, он здоров, у него острый ум. Ему всё интересно. Значит, он должен суметь извлечь пользу из того, что людям попроще кажется несчастьем. Табберт думал об этом, потому что вереница пленных на льду реки напоминала ему другое шествие – позорный парад каролинов, устроенный в Москве царём Петром.

После всех побед Пётр решил увенчать себя триумфом, словно римский цезарь. О Риме Табберту красочно рассказывал товарищ в полку – капитан Яган фон Кронхельм. Яган, славный юноша, несколько лет проучился в Уппсальском университете, но бросил учёбу, вдохновлённый свершениями короля Карла, и ушёл воевать за монарха. Ягана убили под Полтавой.

Русские собрали несколько тысяч пленных в селе Коломенском близ Москвы, старой столицы государства. Царь Пётр сам составил регламент шествия. В Москве воздвигли семь триумфальных арок. Под клики народа через них должны были пройти победители и побеждённые.

Табберт помнил, как студёным декабрьским утром их, пленников, выстроили в колонну и приказали снять верхнюю одежду, чтобы горожане увидели красивые мундиры с блестящими галунами и шитьём, с застёжками-бранденбурами, с подвёрнутыми на крючки полами, с отворотами рукавов и плетёными кистями. Офицеры надели парики – пышные «львиные гривы». Гренадеры шли в высоких шапках-«стриюках» с медными пластинами на лбу.

Свежо и просторно разливался рассвет – клюквенно-водянистый, будто размороженный. Бронзовое ядро солнца топило синий лёд небосвода своим голым и горячим астрономическим телом и пунцово подсвечивало столбы печных дымов над снежными крышами. На подворьях предместья мычали коровы, брехали собаки, пели петухи. Издалека жидким стеклом наплывал слитный звон сотен московских колоколов. Город ждал зрелища.

Деревянная Москва оказалась безразмерной, как целая страна. Улицы, проулки, заборы, хоромы, заборы, хоромы, крылечки с лестницами, кабаки, сады, часовни, торговые лавки, башни, площади, поленницы, мосты, бани, церкви, частоколы, кладбища, дворцы, пепелища, виселицы. И толпы, толпы народа в громоздких и неуклюжих одеждах: краснорожие и бородастые мужики в шапках, толстые бабы, девушки с ярко нарумяненными скулами, священники, калеки, азиаты, старики с палками, дворяне на конях, купцы возле санных карет, мальчишки на крышах амбаров. Шествие двигалось сквозь город и гомон. Хрустел снег под ногами, скрипели ремни амуниции.

Впереди шли музыканты: били в литавры и дули в гобои. За ними гордо ехала конница и маршировали колонны Семёновского полка в треуголках, синих мундирах и красных чулках. Лошади в синих пополах везли пушки. Солдаты несли склонённые знамёна шведов, подметая ими снег, – яркие, разноцветные полотнища с крестами, львами и рыцарскими шлемами. Среди семёновцев на коне медленно ехал старый граф Адам Левенгаупт, генерал. Это он подписал капитуляцию под Полтавой. На нём был чёрный парик и мятая кираса. Его коня под уздцы вёл мальчик в кафтане семёновца.

А за стройными рядами гвардейцев, вызывая восторг толпы, ехали сани, запряжённые оленями, и в санях – царский придурок Выменка: французский шут Вимени, подаренный Петру польским королём Августом. Выменка гримасничал подвижным морщинистым лицом, высовывал язык и кривлялся. Он изображал короля Карла XII. За шутом тащилась свита – два десятка калмыков, наряженных дикими самоедами, тоже на санях с оленями. Дескать, вот какой сумасброд этот шведский король. Потом Табберт узнал, что это было последнее представление Выменки. Ночью на царском пиру каждый из вельможных пьяниц хотел поднять чарку с «Карлушкой», и несчастного безумца Выменку запоили до смерти.

Царь Пётр был очень доволен своей выдумкой с шутом. Царь ехал на любимой кобыле Лизетте во главе Преображенского полка. На Петре был мундир полковника, в котором Пётр под Полтавой водил в атаку батальон, и шляпа, простреленная пулей. Преображенцы шагали в зелёных мундирах с алыми подкладами, с жёлтыми лентами через плечо, на руки они повязали банты. Среди них на коне, подобно генералу Левенгаупту, ехал надменный фельдмаршал граф Карл Реншильд – командующий шведской армией.

За преображенцами уже двигались пленные шведы, сначала генералы и полковники, затем офицеры рангом пониже, унтер-офицеры и солдаты – огромная колонна, составленная без разбора полков и родов войск. Над колонной возвышался граф Пипер, походный министр. Его везли на дрогах с огромными колёсами, он сидел в кресле, а перед дрогами пленные гвардейцы несли пустые носилки короля Карла и захваченный русскими королевский штандарт. Это означало, что шведский король – пустое место.

Бесконечная шумная толпа стояла по обе стороны улицы, по которой тянулось шествие. Табберт рассматривал этих людей. А русские упивались злорадством и превосходством. Они хохотали, свистели, тыкали пальцами, указывая на генералов и знамёна, улюлюкали, лепили снежки и швыряли в шведов. Снежки били пленным в грудь, в плечи, в спины, в лица, сшибали шапки. Самые точные и обидные попадания толпа встречала взрывами ликования. Офицеры злобно отворачивались и ругались, вытирая платками кровь из разбитых носов. Честь не позволяла офицерам склонить голову, но солдаты горбились и прикрывались руками.

А капитан Филипп Юхан Табберт фон Страленберг – конечно, раздражённый снежным обстрелом, – вдруг понял, что не чувствует себя униженным, как того хотел царь Пётр. Для русских пленные шведы были кем-то вроде лесных зверей, которых изловили под Полтавой и привезли сюда на потеху. Но зверинец оказался, так сказать, обоюдным.

Шествие текло сквозь триумфальные ворота. Проезды в них были устланы еловыми лапами. На крышах ворот вместо квадриг стояли оркестры и церковные хоры. Флейтисты, гусельники и ложкари играли что-то совсем дикое, певчие пели. В первых воротах государя под пушечные залпы встречали московские бояре. Во вторых воротах в окружении чиновников стоял князь Гагарин – комендант Москвы и губернатор Сибири. В третьих воротах царю кланялись дворяне, далее – купцы, далее – попы, в шестых воротах рыдала царица Наталья Кирилловна, в седьмых воротах, последних, с кубками в руках ожидали взмокшие от страха московские старшины.

Табберт шёл через ворота вместе с другими пленными и озирался, разглядывая эти громадные и нелепые сооружения. На белёных стенах русские художники намалевали латинские девизы – ошибка на ошибке – и разные поучительные аллегории: уродливые шведские солдаты с маленькими пушечками, толстощёкие ангелы с трубами, смешные львы, грызущие свои хвосты, чудовищный орёл, на котором летел мелкий русский царь. Табберт думал: вместо колонн – брёвна, вместо мрамора – доски... Римский триумф, изображённый варварами. Русские – галлы. Великий народ, но варварский. И галлам никогда не стать римлянами, даже если они разрушат Рим.

А сейчас шум и брань позорного парада уже давно остались в прошлом, но шествие побеждённых всё продолжалось и продолжалось. Под ногами скрипел снег ледовой дороги, шуршали полозья саней, всхрапывали лошади, негромко переговаривались усталые люди, где-то вдали по густым лесам порой разносился почти призрачный шум от внезапного шевеления ветра. Табберту дышалось легко. Он приучился воспринимать голод как целебное благо, а потому чувствовал себя бодрым и уверенным.

По узкому зимнему тракту шагала сотня пленных шведов вперемешку с десятком русских солдат и десятком лошадей с санями. Длинная извилистая река, хмурые еловые кручи, тысяча вёрст без дорог и почти без жилья... Погибнуть здесь было куда проще, чем на поле Полтавы.

Берег по левую сторону поднимался всё выше и, наконец, встал отвесно, будто пробудился, высунув острый скальный выступ, как колено из-под одеяла. С излуины Табберт увидел, что весь берег – высокая гора, такая огромная, словно была создана для моря, а не для реки. Она обрывалась в реку протяжённой грядой косых разновеликих утёсов. Между их каменных клиньев в тушу горы глубоко вваливались лога, заросшие хвойной шерстью. Мороз освежал растрескавшиеся стены, прокалил пятна лишайников до нервного багрянца, иссушил щетину травы в расщелинах. В глухой толще белёсых известняков чудилось какое-то стиснутое отчаянье, даже воздух замер неподвижными ударами жути. Казалось, тяжёлое небо само подбирает свой облачный испод, перебираясь через рубеж, обжигающий стужей.

Но Табберт заметил и другое. На вытертой плоскости камня у подножия одного утёса красной краской врассыпную были начертаны странные знаки: круги, стрелы, кресты, олени с рогами, человечки. Так рисуют дети. Табберт, шурясь, с дороги всматривался в эти каракули, а потом догнал старого солдата Савелия и взял его за рукав зипуна.

– Савелий, кто рисовать? – по-русски спросил Табберт и указал на скалу.

– Там, что ли? – удивился Савелий и пожал плечами. – Да не знаю я. Камень Писанный, значит, писали на нём. Всегда было.

Табберт отстал от русских, дожидаясь товарища – Юхана Густава Рената, артиллерийского офицера.

– Посмотрите, господин штык-юнкер, – заговорил он по-шведски. – Вы тоже видите эти непонятные изображения на скале?

В самом начале войны с русскими капитан Табберт несколько месяцев прослужил в гарнизоне Гётеборга – риксдаг опасался, что Дания высадит в порту Гётеборга десант. И здесь Табберт услышал о петроглифах викингов на древних валунах, что лежат в сосновых борах на склоне холма Танум. Когда появилась возможность, Табберт нанял проводника с лодкой и отправился мимо шхер Скагеррака к удивительному холму. Он нашёл эти валуны. На шершавых каменных лбах и вправду были высечены знаки – стрелы, кресты, человечки, лодки... Такие же, как здесь, – на богом забытой скале. Табберта глубоко взволновало это необъяснимое сходство.

– Мне нет дела до русских скал, – раздражённо пробурчал Ренат.

– Вам не случалось видеть письма викингов на валунах Бохуслена? Готов биться об заклад, что эти линии чертила та же рука.

– Моя цель – выжить в этой проклятой стране, – глухо сказал Ренат. – А вы, господин капитан, не расходуйте себя на посторонние предметы.

Табберт понял, что Ренат замёрз и обессилел.

– Вы пали духом, господин штык-юнкер, – Табберт глядел на Рената внимательно и с сочувствием. – А ведь вы моложе меня. Возьмите, это поддержит вас до вечера.

Табберт расстегнул тулуп, достал из кармана сухарь и протянул Ренату. Пряча глаза, Ренат взял сухарь и сразу принялся грызть. Табберт усмехнулся, расстегнул камзол и вытащил из-за пазухи своё сокровище – тетрадь для записей и грифель. Бумагу и кусок графита ему подарил господин Пипер.

Эти петроглифы следовало зарисовать. Для чего? – Табберт ещё не придумал, но свидетельство о подобных удивительных изображениях когда-нибудь в будущем может оказаться очень ценным. Табберт сошёл с дороги, погрузился в снег и пошёл к скале, оставляя за собой борозду. Тетрадь он держал повыше, чтобы не замочить. Шведы и русские в изумлении оглядывались на безрассудного капитана фон Страленберга.

– Эй, шальной! – закричал Табберту солдат Савелий. – Ну-ка вернись!

– Да пёс с ним, – сказал солдат Юрка. – Жить захочет – догонит.

Глава 2

От бога ветер

В Сибири Юрка всё тяготило, и эта белая ночь с её обволакивающим жемчужным светом тоже казалась невыносимой. Юрка заворочался, сбросил с себя кафтан, поднялся и побрёл на корму дощаника. Там у длинной рукояти сопцового руля на обносном бруске боком сидел Ерофей и лузгал кедровые орешки. Юрка подобрал под лавкой берестяной ковшик, наклонился за борт, держась за становой трос от мачты-щеглы, и зачерпнул обской воды.

– Не могу спать, дядя Ерофей, – пожаловался он. – Измучился себя пристраивать. Свет этот негасимый прямо душу сосёт, глаза не закрыть.

– Лучше на полночном свету, чем в гнусе, – возразил Ерофей.

Спасаясь от гнуса, служилые люди ночевали в своём дощанике прямо на реке – на расстоянии от берега. Спустили райну и спали на парусе, раставив его по доскам подмёта на дне. Плечи и головы от света укрывали армяками и кожухами. Судёнышко стояло на якорнице, тихая вода изредка плескала в просмолённый борт. Перо руля безвольно вытянулось вниз по течению. Служилые храпели, Ерофей караулил. Это был ладный невысокий мужичок, на вид сразу хитрый и добродушный, по-детски большеротый, с плотной и короткой русой бородёнкой.

– Как вы живёте тут, дядя Ерофей? – страдальчески спросил Юрка. – Почто господь такую нелюдимую землю создал? Вечный день этот, мошка...

– Ну, не за всё бог виноват, – рассудительно заметил Ерофей. – Остяки, инородцы здешние, говорят, что гнус – это пепел ведьмы, которую сожгли заживо. Он от сатаны. А от бога – ветер.

Неоглядная Обь простиралась на три стороны и таяла в розово-голубом бессолнечном мареве. С четвёртой стороны виден был длинный невысокий берег, по которому ползла синеватая пелена – всё, что к рассвету осталось от остяцких костров-дымокуров. Из пелены торчали рогатые макушки чумов остяцкого селения Певлор, к которому и плыли служилые. Дощаник сидел в Оби как влитой и даже не отражался в воде. Её и видно-то не было, этой воды, – лишь вдали на неосязаемой плоскости реки вдруг зажигались пятна мягких отсветов и сразу исчезали. Пространство рассеивалось в тонкой и прозрачной пустоте, но влажно ощущалось в каждом вздохе.

– Ты сам-то откуда? – спросил Ерофей.

– Из Воронежа.

– А как в Берёзов занесло?

– Шведов привёл. Буду здесь куковать, пока с ума не сдвинусь.

В конце 1710 года турецкий султан объявил войну царю Петру, Дон оказался в опасности, и царю пришлось убрать оттуда тысячи шведских пленников, которые строили бастионы Азова и рубили корабли на верфях Воронежа. А с Кубани, где правил крымский хан, мятежные игнат-казаки грозили ударить по Волге, и царь приказал уводить пленников с адмиралтейских плотбищ Астрахани, из Саратова, Сызрани и Самары. К тому же в феврале 1711 года раскрылся заговор шведов в Свияжске. В общем, каролинов отправили подальше от соблазна бунта – в Сибирь.

Юрка думал, что они доведут шведов до Тобольска и вернутся в Россию. Не тут-то было. Тобольск был переполнен пленными. Обер-комендант Бибииков рассылал их по другим своим городам: в Берёзов и Тару, в Сургут и Нарым, в Томск, Иркутск и Братск, в Енисейск, Якутск и Селенгинск. У Бибиикова не хватало тобольских служилых людей, чтобы конвоировать такую орду, и всех солдат, которые приходили с пленными, оставляли в Сибири. Вот так Юрка и

угодил в Берёзов. На верфях в Воронеже ничего хорошего, конечно, он не видел, но там хоть ночи бывают, и теплее, и народу русского куда больше, и нет гнуса.

– Слышь, молодой, – окликнул задумавшегося Юрку Ерофей. – А что у вас там командиры говорят? У нас слух пустили, будто царь приказал всех наших служилых по-новому в солдат перевёрстывать.

Ерофею было любопытно: что это за люди – солдаты? И чем их армия отличается от войска? Вдруг там лучше? Не дай бог, конечно. Обидно опять судьбу менять, ведь только-только устроился.

– Не знаю, – пробурчал Юрка. – Мне-то что?

– Не Петька-царь первым такое затевает. Не выйдет у него ни рожна, – уверенно заявил Ерофей.

Он спорил не с царём и не с Юркой, а сам с собой. Ему не хотелось, чтобы царь отменил служилых людей. Такое уже бывало. Дед рассказывал Ерофею, что давным-давно воевода Хилков хотел переделать служилых в рейтаров. Привёз из Москвы немецких полковников и полуполковников в бабьих платьях, привёз ружья на крюках и мушкетоны с жаграми и принялся учреждать полки «иноземного строя». Не вышло. Потом – об этом Ерофею рассказывал уже отец – за перетряску взялся воевода Годунов. Урезал жалованье ротмистрам и майорам, отменил хлебную выдачу и начал строить линию крепостей, чтобы охраняться от степняков. Служилые вроде как должны были жить в этих крепостях и сами себя кормить. Тоже не вышло.

– У нас в Берёзове служилому человеку по прибору воевода пять рублей в год платит, шесть четей ржи и столько же овса. А солдату сколько?

– Солдатам, дядя Ерофей, совсем не платят. Ты же лошади не платишь.

– Лошадь и не сбежит. А служилый человек, ежели ему не платить, уйдёт через год, когда урочный срок закончится.

– Не знаю, как у служилых, а нас в солдаты на всю жисть забривают. Удерёшь – поймают и повесят. При мне повесили одного. Служи, пока тебя полковник не спишет. А списывают по старости или калек. Разве не знаешь?

Ерофей не знал. Служилых людей, беломестных казаков и стрельцов он знал, а солдат – нет. Когда восемь лет назад воевода Черкасский объявил по городам Сибири набор рекрутов в Тобольский и Томский полки, Ерофей Быков по прозвищу Колоброд пропал в туруханской тайге. Он считался «гулящим человеком», не приписанным ни к делу, ни к месту, и болтался от Мангазеи до Албазина. На Турухане он зверовал, но ушёл с промысла – слишком обдирали приказчики. Потом торговал с китайцами в Иркутске. Из Якутска плавал на кочах за моржом. Собирал ясак для воеводы Братска. Рыл серебряные жилы на Колывани. Последним его занятием был Бикатунский острог. Ерофей вступил в казённую артель: рубил лес, рыл каналы, ставил башни и частоколы. А потом с Алтайских гор спустились джунгары и напали на острог. Всё сожгли, многих зарубили, Ерофей еле ноги унёс. Приплёлся в Берёзов, и тут повезло: воевода Толбузин принял его к себе.

– Так вы навроде казаков? – спросил Юрка.

– Казаки при своей земле, а мы – свора воеводова. Куда пошлёт, туда несёмся. Казаки без жалованья, но и подати не платят, а мы на коште.

– Хорошо вам, – позавидовал Юрка.

– Да разве же? – усмехнулся Ерофей. – Я-то, дурень, сам думал к вам в солдаты наняться. Авось выберут каким-нибудь майором – заживу!

– В армии командиров не выбирают.

– Ладно, не помирай. Может, перелицуют вас в Сибири?

– Ага, жди, когда рак свистнет, – вздохнул Юрка.

– Что за рак? – не понял Ерофей.

– Ну, рак. Который в реке живёт. Такой вот, – Юрка скрючил пальцы, изображая рачьи клешни. – Клешни, панцирь, хвост, усы.

– Тьфу, пакость, – суеверно сплюнул Ерофей. – Никогда не видел. У нас в Сибири таких тварей нету.

– А что там за ладья плывёт? – вскинулся Юрка, глядя Ерофею за плечо.

Ерофей встревоженно повернулся. Вдали в ясной мгле, словно между небом и землёй, висела тёмная муха – другой дощаник под парусом.

– Кажись, знаю, кто это, – щурясь, сказал Ерофей. – Бухарцы.

– Кто такие?

– Проныры хуже твоих раков. Буди робят.

Ерофей положил ладонь на рукоять руля. Кроме Ерофея с Юркой, в дощанике было шестеро служилых Берёзовского острога и есаул Полтиныч, командир. Служилые, просыпаясь, зевали, крестили рты, с хрустом разгибали спины, черпали из-за борта и умывались. К Ерофею пробрался Полтиныч.

– Почему думаешь, что бухарцы? – спросил он.

– Со стрежня сошли, значит, хотят причалить к Певлору. А кому туда надобно, кроме бухарцев? Да и время ихнее – лето.

– Багры готовь, вёсла вынимай! – приказал Полтиныч служилым.

Служилые вытаскивали из-под лавок вёсла и вкладывали в уключины, роняя лопасти в воду. Безмятежная и невидимая гладь реки вмиг проявилась: подёрнулась кругами, зарябила, и стало ясно – вот синяя вода, вот синее небо. Полтиныч, работая локтями, вытянул со дна якорницу – многорукую корягу с привязанным камнем. Судёнышко закачалось. Не поднимая паруса, служилые вёслами с натугой погнали дощаник навстречу бухарцам.

– Никита, а кто это – бухарцы? – спросил Юрка у соседнего гребца.

– Торговцы сибирские. Басурмане. Мимо нашей казны скупают меха у остяков и в свою Бухару отсылают.

– Разве оно дозволено?

– Им можно, другим – по бороде.

– Почему?

– Отлезь, – раздражённо выдохнул Никита, налегая на весло.

– Точно – бухарцы, – сообщил Полтиныч. – Вижу Касымку.

Тобольские бухарцы, которых возглавлял Ходжа Касым, летом на судах объезжали становища инородцев на Оби ниже устья Иртыша и покупали пушнину. Лето – худшее время для торговли мехами, поэтому тобольский воевода – теперь обер-комендант – и разрешал такой промысел. Потом в Тобольске бухарцы сдавали соболей и песцов приказчикам Гостиного двора, те сортировали добычу, красной сучёной нитью увязывали шкурки в сорока, заливали узел сургучом, ставили печать и брали с Касыма пошину.

Ходжа Касым сидел в кресле, крытом ковром, и вёл беседу с шейхом Аваз-Баки, который сидел напротив в таком же ковровом кресле. Шейх с семейством недавно переехал в Тобольск из Ургенча, чтобы руководить здесь новым мектебом – школой, открытой Ходжой. Касым хотел показать достопочтенному Аваз-Баки селения инородцев, так как инородцам скоро неизбежно придётся выбирать веру – Аллаху им поклониться или Христу. Но встреча со служилыми не сулила бухарцам ничего хорошего.

– Почему? – спросил шейх по-чагатайски. – Разве твои люди ведут себя недостойно? Или ты нарушаешь русский закон?

– Нет, мой господин, – ответил Касым. – Неприязнь к нам нужна русским для того, чтобы легче было притеснять моих работников. Сожалею, что тебе придётся стать свидетелем неучливости, но это дикая страна.

Касым омыл лицо руками, соединив ладони под острой, ухоженной бородкой, встал и подошёл к борту дощаника.

Два судна сближались. Ерофей подруливал, четверо служилых гребли, а двое достали багры и готовились подцепить дощаник бухарцев. Полтиныч стоял возле носовой упруги и держал в руках лёгкий кованый якорь-кошку на тонкой снасти, чтобы забросить его, если багры не дотянутся.

– Касымка из Тобольска? – окликнул Полтиныч. – Не ошибся я?

– Ты не ошибся, добрый человек, – ответил Ходжа Касым по-русски. – А вы кто будете?

– Служилые люди воеводы Толбузина.

– Нынче положено говорить «коменданта Толбузина», мой друг, – вежливо уточнил Касым.

– Нынче положено говорить «давай, что взял, Касымка»!

Касым открыто стоял перед русскими – красивый, широкоплечий, в синем кафтане-чапане с затейливой вышивкой по рукавам, подпоясанный дорогим кушаком из красного шёлка. Голову Касым повязал небольшой походной чалмой из синего холста. Ветер пошевелил хвост чалмы.

– Я торгую по закону, уважаемый, – сдержанно сказал Касым.

– Здесь я закон, – самодовольно заявил Полтиныч.

Касым полез за пазуху и вытащил сложенный вчетверо лист.

– Господин обер-комендант милостиво приказал своему писцу снять для меня копию с указа царя Петра, в котором царь подтверждает давние права бухарцев на торговлю с осятками. Вот эта бумага, она с печатью.

– Предусмотрительный, стервец, – хмыкнул Ерофей.

Он с любопытством присматривался к бухарцам по привычке «гулящего человека»: не пригодится ли знакомство? Вроде крепкий хозяин Касым.

– Воевода Толбузин приказал мне по второму кругу осятков ободрать. По Оби Берёзовский уезд, не Тобольский, – ломал Касыма Полтиныч. – Твой хабар – это мой хабар. Я ведь и силком забрать могу.

– Это слова разбойника, а не воина. Они не коснулись моего слуха.

Гребцы-бухарцы не вынимали вёсел из воды, чтобы в случае нападения отталкивать дощаник русских. Один из гребцов незаметно вытащил из ножен на поясе кинжал и положил рядом с собой на скамейку. Рулевой бухарцев наматывал на кулак ремень. Аваз-Баки внимательно слушал, склонив голову в белой чалме. Два дощаника медленно двигались вниз по течению.

Полтиныч озадаченно покачивал в руках якорь-кошку на верёвке.

– Не поделишься, значит? – с угрозой спросил он. – Тогда я тебя дальше не пущу. Угребай восвояси.

– Я пожалуюсь на тебя в Тобольске обер-коменданту Бибикову.

– Да хоть Магомету, – ухмыльнулся Полтиныч.

– Вот этот благородный старец – шейх Аваз-Баки, – Касым указал на шейха. – Он привёз из Ургенча щедрые подарки для обер-коменданта. И обер-коменданту не понравится, что его гостя прогнали, как собаку.

– Не пужай, пужаные. А Певлор тебе не отдам. Это моя добыча.

Остяцкое селение Певлор лежало вдали на берегу, не догадываясь, что сейчас русские делают его с бухарцами.

– Хорошо, – сдержанно произнёс Ходжа Касым. – Будь по-твоему.

Касым оглянулся на своих гребцов и рулевого.

– Поверните парус, – приказал он по-чагатайски. – Мы возвращаемся.

Касым был взбешён, что его унизили при работниках и при шейхе, но не дрогнул лицом. Придёт время – и воевода Толбузин заплатит ему.

Дощаники начали потихоньку расходиться друг от друга.

– Ну и лады тогда, – с облегчением сказал Полтиныч и со стуком бросил кошку на дно. – Касымка всех остяков впереди уже обобрал, значит, мы тоже домой поедem. Вот только Певлор ещё обыщем. Руль на берег, Колоброд.

– У воеводы и без того сапоги сафьяновые, – рассудительно заметил служилый Никита, толкая весло.

Глава 3

Братъ всё

Стёсанный на грань носовой брус дощаника, волнорез, корабельщики называли «лемех» – на ходу он как плуг вспарывал воду, отваливая её по обе стороны двумя пенными пластами. «Лемехом» дощаник с разгона проехал по мягкой отмели, поднимая донную муть, и волна от судна по мелководью побежала к берегу и хлопнула на приплёске. Служилые вытаскивали вёсла, перелезали через борт и прыгивали в воду. Им было здесь по колено.

На берегу в траве, пробивающейся сквозь холодный северный песок, лежали лёгкие остяцкие лодки – похожие на сушёных тайменей калданки из бересты или смолёных шкур и вогнутые долблёные обласы. У воды валялись выброшенные рекой древесные стволы, обмытые до белизны, будто кости. На крестовинах из жердей висели сети с ключьями водорослей, рядом сохли огромные плетёные корзины – рыболовные морды. Остяки Певлора уже давно заметили на Оби русский парус и теперь ожидали пришельцев на покатоном склоне берега. Их было человек сорок – два десятка мужиков в кожаных рубахах, чернокосые бабы в расшитых халатах и детишки.

Служилые не брали с собой ружей. Бунты инородцев остались в далёком прошлом, когда остяцкая княгиня Анна Пуртеева, злая вдова Игичея, сына князя Алачи, подбивала своего сына и своего внука на мятеж и рассылала по селениям краснопёрые стрелы, призывая всех к войне с русскими. Кода, городок княгини Анны, давно был разорён, и его пустырь уже зарос берёзами, хотя оставалась Кодская волость, где князьями стояли потомки Анны и Алачи. В Певлоре молодой князь Пантила тоже был записан в воеводских ясачных книгах Алачевым: он приходился свирепой старухе Анне прапрапраправнуком.

Пантила тоже встречал служилых.

– Еду надо? – сразу спросил он, хмуро глядя в лицо есаула Полтиныча. – Муксун жарим, кровяной хлеб дам, порсу можно делать.

Пантила надеялся, что русские причалили только на горячий обед.

– Не обессудь, князь Пантила, мы приехали взять, что осталось, – усмехнулся Полтиныч. – Но пожрать не откажемся.

– Почему взять? Зачем взять? – рассердился Пантила.

– На подарок Агапону Иванычу боярину Толбузину.

Полтиныч уверенно шагал вверх по склону берега к селению. Пантила поспешил за есаулом. Служилые тоже шли к жилищам остяков, не обращая внимания на хозяев. Остяки взволнованно переговаривались по-хантыйски.

– Олень в горы Нум-То на тебенёвку ушёл – мы Толбузе ясак принесли! – взволнованно принялся объяснять Пантила. – Стерх по небу вернулся – мы «поминки» Толбузе принесли. Твои люди на реке туда-сюда всю зиму ездили – мы коней и быков давали, собак давали, сами в упряжках бегали! Нам нечего больше дать!

– Мы ж берём не то, что дают, – беззлобно ответил Полтиныч, не глядя на Алачева. – Мы берём то, что есть.

– Ничего нет! Певлор бедный, Берёзов богатый! Толбуза сытый давно! Ему вместо пояса железную цепь надеть надо – у него брюхо дует!

– Агапон Иваныч ране был воевода, а теперича стал комендант, – снисходительно объяснил Полтиныч. – По нашему закону, Пантила, человека надо поздравить. Подарки ему дарить надо.

– Сам поздравляй!

– Я уже поздравил, – посмеиваясь, сказал Полтиныч. – Твоя очередь.

Полтиныч считал остяков глупыми, как детишки.

Селение Певлор располагалось на широкой опушке соснового бора, по-северному приземистого, но светлого. Три больших бревенчатых домины с толстыми крышами из дёрна казались по брови вкопанными в землю. Всюду торчали шесты с развешенной проветриваться зимней одеждой и гроздьями юколы – вяленой рыбы. Рядом с домами высились летние печки из камней, скреплённых глиной. Образуя околицу, выстроились чумы из шкур или бересты, и громоздились «костры» – составленные на просушку длинные лесины. Певлор, как сухопутный ковчег, был хорошо снаряжён для жизни на огромной и вечно холодной Оби, где зима в семь раз длиннее лета. Даже лабазы – хозяйственные избушки из колотых брёвен – стояли на столбиках-опорах, но не от медведей и росомах, как в тайге, а от собак.

У собак имелась своя деревня, выгороженная жердями, – с домиками, спальными ямами и с уличной печкой-дымокурором. Остяки считали собак особой породой людей: с собаками разговаривали как с равными, объясняли им жизнь и рассказывали сказки, чтобы они знали таёжных духов по именам. Мохнатые улыбчивые псины всегда толклись среди людей, но старались соблюдать правила общежития. Такая головастая зверюга могла разорвать волка, но терпела, когда ребёнок хватал за уши или трогал крепкие зубы.

Самостоятельными, как собаки, были и олени. Летом они уходили в леса на кормёжку, но время от времени всем стадом возвращались к Певлору и, путаясь рогами, забивались в большой щелястый сарай, выстроенный за околицей. Сарай остяки окуривали дымом, чтобы прогнать или выморить гнус. Всё большое селение людей, собак и оленей было затянуто пеленой дыма, как на пожаре. В небе шевелилось тусклое солнце, а предметы не отбрасывали тени. И казалось, что пожар в Певлоре разожгли русские.

Служилые обшаривали селение в недобром оживлении дурного дела: ходили везде, всюду заглядывали, всё хватали и рассматривали. Мужики-остяки стояли растерянные, как чужие. Бабы прижимали к себе ворохи тряпья и шкур. Старики безучастно сидели на бревенчатых колодах. Только детишки в кожаных рубашках, не понимая, что происходит, бегали меж людей и смеялись; в руках у них были игрушки – заячьи хвосты, куколки из связанных нитками щепок и погремушки из утиных клювов.

Служилый Никита растянул на просвет какую-то овчину.

– Всё проедено, одни дырья, – разочарованно вздохнул он.

Другой служилый рылся в расписном коробе, что стоял на летних нартах под лабазом. Ещё один – Терёха Мигунов – снял с головы старого остяка меховую шапку и нахлобучил ему свой суконный колпак.

– Носи! – улыбаясь, сказал Терёха. – От сердца оторвал!

Остяки не противились грабежу, даже мужчины. Остяки не понимали, как можно воровать или отнимать, ведь у каждой вещи, у самой последней рваной тряпки, есть свой дух, и он отомстит за хозяина. А вот русские легко брали чужое, и потому остякам казались колдунами. Откуда русские столько всего знают и умеют? Остяки смотрели на русских с суеверной опаской и отчаяньем. Вещей, конечно, им было жалко, но гнев отступал перед страхом.

Ерофею грабёж остяков был не особо интересен. Много ли получишь с тех, кого и так уже трижды ободрали? Ерофей приглядывался к хитростям остяцкой жизни: как остяки плетут из лозы ловушки на песца? как выгибают полозья лыж? как сушат юколу, распирая потрошённую рыбу прутиками? Ерофей долго стоял над глухой скрюченной старухой, которая, не обращая ни на что внимания, на коленях ползала у перевёрнутой берестяной лодки и сшивала полосы варёной бересты костяной иглой с оленьими жилами.

Терёха Мигунов полез в лабаз. Вместо лесенки в избушку вело бревно с выемками. Терёха заглянул внутрь лабаза, высунулся и закричал:

– Полтиныч, а вонючие шкуры брать, или считай – пропали?

– Бери, сойдут, – издали ответил Полтиныч. – Егор-скорняк в Берёзове прожарит и передубит.

Молодой солдат Юрка, подобно Ерофею, не хищничал. Он озирался по сторонам в поисках баб. Остячек он не мог различить между собой: все мелкие, круглолицые, смуглые, не поймёшь, молодые или старые. Плевать! Можно оттащить какую-нибудь в лес и снасильничать, в дыму не заметят...

– Дядя Ерофей, долго мы тут пробудем? – волнуясь, спросил Юрка.

– Не знаю.

Ерофей снял со стены дома висящую на шпеньеке оленью упряжь и принялся ножом срезать костяные пряжки – пригодятся. Желания Юрки Ерофею были понятны. Он по себе знал, о чём думает парень в двадцать лет.

– На грешок тянет?

– Больно мне надо! – соврал Юрка. – Смотри-ка, болваны!

Отвлекая Ерофея, Юрка указал на небольших, в два аршина высотой, идолков; они были в ряд прислонены к задней стене дома, где рос бурьян.

– Сам ты болван, – сказал Ерофей. – Полезли в домину.

По земляным ступенькам, укреплённым досочками, Ерофей, Юрка и Терёха спустились в жилище остяков – обширную полуземлянку. На улице от дыма было мглисто, а в доме – совсем темно: узкие волоковые окошки под кровлей почти не пропускали света. Служилые не сразу поняли, что в доме полно народа. Бабы, детишки и старики прятались здесь от русских, словно от грозы. Вдоль стен тянулись земляные лавки-приступочки, застеленные шкурами, лапником и покрывалами; остяки тихо сидели на лавках и пугливо смотрели на вошедших; бабы стискивали детей. По стенам было развешано разное имущество – мешки, веники, промысловые снасти. В дальнем конце красными углями теплилась глинобитная печь – чувал. Балки кровли терялись в пелене дыма. Дым милосердно глушил густые запахи шкур, жареной рыбы, хвои и человеческих тел.

– Хуже свиней в хлеву живут, – брезгливо сказал Юрка.

– А ты, знамо, из бояр, да? – огрызнулся Терёха.

В Берёзове многие русские тоже зимовали в чёрных избах.

Ерофей потянулся к стене, и баба перед ним сжалась, но Ерофей снял со спицы, воткнутой между брёвен, большой капкан из ржавых железных дуг. Терёха сердито дёрнул что-то меховое из рук другой бабы. Юрка увидел темноглазую девку с повязкой на лбу, на повязке бисером были вышиты разноцветные кресты и круги. Юрка схватил девку за плечо и вытащил перед собой, чтобы разглядеть получше. Девка закрылась рукавом.

– Чего тебе от неё надо? – сразу с подозрением спросил Ерофей.

– Пушай вон шкуру принесёт из-за печки, – быстро придумал Юрка и ладонью толкнул девку в грудь. – Иди, принеси!

– Сам возьми, – сказал Ерофей.

– А я хочу, чтоб она дала.

Ерофей взял перепуганную девку за локоть и усадил обратно.

– За печкой у остяков место священное. Бабам туда ходить нельзя.

Ерофею неприятна стала срамная прыть этого солдатика. В тайге такое нетерпение принято было прятать. Баб мало, всем хочется, и чья-то похоть без оглядки на прочих мужиков может довести артель до смертоубийства. Обычно перед большим походом артель целовала крест своему есаулу на общее терпение и равное воздержание от любодеений. В Сибири все помнили о страшной гибели святого отрока Василия Мангазейского.

Терёха вдруг выволок из толпы остяков худенького старичка.

– Хемьюга! Хемьюга! Хемьюга! – дружно заволновались бабы-остячки, удерживая старичка за одежду.

– Шаман, – пояснил Терёха. – Прятался, стервец, за бабами.

– С чего ты взял, что шаман?

– Под бубном сидел.

– Это не бубен, – шурясь, сказал Ерофей. – Рубаха из налимьей кожи.

– Бубен, – возразил Терёха. – Остяки говорят, что у бубна есть душа, а тело с душой должно быть облачено в рубаху.

– А на кой ляд тебе этот хрыч?

– На капище нас отведёт. Там тоже мягкая рухлядь есть.

– Ладно, – согласился Ерофей. – Айда на выход, братцы.

Терёха Мигунов толкнул старичка в спину по направлению к выходу.

В это время есаул Полтиныч уже подводил итоги обыска в Певлоре. Полтиныч сидел на бревне возле большого кострища, где обычно собирались все жители селения. Рядом с есаулом стоял берестяной короб, наполненный мехами и шкурами, которые служилые отняли у остяков. Полтиныч вынул из-за пазухи свиток со списком остяков, расправил его на колене и взял из кострища обугленный с конца прутик. Сбоку от есаула на то же бревно присел и князь Пантила Алачеев.

– Всё, что взяли, зачту в поминки, – с важностью сообщил Полтиныч.

«Поминками» называли подарки ясачного люда местному воеводе. Их требовали раз в году, и постоянного размера им не назначали. Из поминок местные воеводы платили свою дань главному воеводе в Тобольске.

– Нигла Евачин... – Полтиныч по слогам с трудом начал читать имена остяков. – Ставлю крестик... Акутя Тупов... Крестик... Петрума и брат его Етька... А где Петрума? Не видел его!

– Петрума в дом пошёл, горюет, – сказал князь Пантила.

Пантила Алачеев был самым молодым князьцом Берёзовского уезда. Его не признали бы хозяином Коды, Кодской волости на Оби, но древний род князя Алачи и княгини Анны Пуртеевой пользовался у остяков большим уважением. И Пантила очень старался быть справедливым и заботливым. Для остяка высокий, он был по-юношески строен и даже красив. Он уже убил медведя и носил косу с оловянным кольцом, однако странный разрез тёмных глаз делал его чистое лицо то ли ожесточённым, то ли заплаканным, как у девушки. Старики говорили, что такие глаза – родовая черта прапрабабки.

– Ладно, крестик Петруме и Етьке, – согласился Полтиныч.

– Ещё назови Мынкупу Безрукого, он от Анню и Опыти, баб своих, беличью парку отдал.

– Ему тоже крестик ставлю...

В отличие от других остяков, Пантила не верил, что русские – колдуны. Он не боялся русских, он ездил на ярмарки и в Берёзов, и в Тобольск. Власть русских была не в колдовстве. Все русские, даже какой-нибудь последний нищий на ярмарочной площади, имели в себе безоговорочное убеждение, что тут, в Сибири, они самые главные. Они приходили и брали, что пожелают, и даже удивлялись, когда им не хотели давать. Они не сомневались в своём праве. И про меру они тоже не думали – забирали больше, чем надо, могли забрать вообще всё, и не испытывали вины. Русские были не народом, а половодьем. Нельзя сказать, что они угрожали или давили силой, хотя порой случалось всякое. Но обезоруживала их уверенность в себе. Вот и сейчас: есаул Полтиныч приехал в чужой срок, ведь летом время бухарцев; есаул обманывал; с есаулом было только восемь человек, а в Певлоре для отпора Пантила мог призвать двадцатку воинов, – и всё равно Пантила подчинялся. Он не мог понять, в чём причина владычества русских. И ему было больно и горько за свой народ: почему он такой слабый, хотя люди, выживающие зимой на Оби, – сильнее и русских, и татар, и бухарцев, и кого угодно.

К Полтинычу подошёл один из служилых, он вёл за собой понурого остяка – Ахуту Лыгодина, а за узкой спиной Ахуты испуганно прятались его дочери – близняшки Айкони и Хомани, похожие, словно две рукавички.

– Слышь, Полтиныч, – озабоченно сказал служилый, – у этого мужика взять совсем ни шиша нету. Только лодка дырявая и штаны блохастые. Он согласен одну девку отдать в холопство. Берём?

Князя Пантилу захлестнули обида и жаркий гнев. Как Ахуте не совестно расплачиваться за свою никчёмность дочерью? Холопство – не тюрьма, конечно, и не смерть, но это исторжение из рода. Из холопства, отработав долг, обратно домой возвращались только зрелые люди. Парни оставались у русских в помощниках, а девки – в прислужницах или приживальщицах. Но бывало, что злые воеводы вроде Толбузы против закона продавали холопов как невольников неведомо куда или морили трудом до гибели.

– Девка тоже товар, – рассудительно сказал Полтиныч. – Возьмём.

– А какую? – простодушно спросил служилый, оглядывая девок.

– А какая тебе нравится?

– Дак они же одинаковые, – растерялся служилый.

– Тогда левую, – Полтиныч, смеясь, указал на Айкони.

Пантила сверлил Ахуту тяжёлым обвиняющим взглядом. Ахута гордо выпрямился и самолюбиво сказал по-хантыйски:

– Это мои девки. Делаю, что хочу.

Ахута полагал, что он стал бедным как раз из-за неудачных детей. Жена его умерла тяжёлыми родами двойни. А куда нужны две такие девки? Шаман Хемьюга говорил, что у него должен был родиться только один ребёнок, но коварный бог Хынь-Ика удвоил его. Выкормить без жены сразу двух дочерей Ахуте было очень трудно, а вознаграждения он не получит. Кто возьмёт этих близнях в жёны и заплатит отцу щедрый выкуп? Никто. Например, Гынча Петкуров решит взять Айкони. Но обе девки – это одна девка, и весь Певлор будет смеяться, что у Гынчи только половина жены. А брат двух девок Гынча не станет: это всё равно, что за одну девку давать двойную цену. И порознь девок тоже не разберут. Если, скажем, Гынча возьмёт Айкони, а Негума возьмёт Хомани, то Гынча будет иметь как бы жену Негумы, а Негума – как бы жену Гынчи, и Гынча с Негумой поссорятся. Бог Хынь-Ика очень жестоко посмеялся над Ахутой Лыгочиным, отцом двойняшек.

Айкони и Хомани стояли, будто замороженные. Ахута уже улыбался.

– Почему ты радуешься, Ахута? – зло спросил князь Пантила. – Ты же потерял одну дочь.

– Я её не потерял, – с превосходством ответил Ахута. – Вот она, Хомани, здесь. Она остаётся у меня. Я отдаю русским Айкони, и это лишь половина того, что они хотели получить. Я их обманул. Я очень хитрый.

Есаул Полтиныч и служилый не понимали, о чём говорят остяки, да им и дела не было до переживаний инородцев.

– Уводи девку к дощанику, – сказал служилому Полтиныч, поднимаясь на ноги. – Скоро отчаливаем. Гляди, Терёха шамана уже отыскал.

Глава 4

Через Верхотурье

Князь Матвей Петрович Гагарин молился от сердца, с отдачей – он был благодарен, что добрался до Верхотурья. Слава богу, путь пройден. Народ заполнил Никольскую церковь и украдкой поглядывал на губернатора, который даже в толпе крестился по-барски широко и уверенно: привык, что ему всегда уступят пространство для знамения и поклона. Матвей Петрович не сомневался, что Христос на иконе благословляет именно его.

Бабиновская дорога едва не вытрясла душу из князя. Дорога соединяла Соликамск и Верхотурье и была самой трудной частью Сибирского тракта. Поначалу вроде было терпимо, большак и большак, но потом дорога полезла в дождливые хвойные горы. Колеи разъехались сикось-накось, гнилые гати в распадках тонули в грязи, лошади скользили на крутых подъёмах и падали. Крепкие колёса телег, окованные железными шинами, скрежетали по сырým камням и слетали с осей, выбитые угловатыми валунами. И никуда не деться из глубокой расщелины просеки, вокруг – мокрый буреломный лес, бородой к бороде теснятся вековые ёлки. Двести вёрст в зыбкой мороси. Слякоть и прель. Высокие увалы – как тумачи в драке, скалы – будто удары в зубы.

Обоз князя Гагарина состоял из сотни телег. Матвей Петрович вёз из Москвы в Тобольск узлы с одеждой, сундуки с посудой, мебель, шандалы, стёкла и зеркала, бочки с виноградным вином, книги и кипы бумаги, иконы, свёртки тонких тканей, ковры, мешки с постельным бельём. С обозом, кроме ямщиков, шли холопы, слуги из двора, солдаты и офицеры, чиновники, музыканты, два монаха, портной, которого Гагарин переманил от графа Шереметева, и повар-немец. Сердцем обоза была золочёная карета на больших тонкоспицых колёсах – через ухабы и лужи её переносили на руках.

По уму, надо было ехать зимой, в санях, когда колдобины сглалятся снегами, но Матвей Петрович пустился в путь, как только появилась возможность. Он уже три года был сибирским губернатором, однако царь не отпускал его в Сибирь. У Петра Алексеича всегда находились дела для безотказного князя Гагарина, ко всему прочему ещё и московского градоначальника. И Гагарин просто удрал, едва только неугомонный царь отвлёкся и на время позабыл о нём.

Каждый вечер в походном шатре, откуда выкурили комаров, Ефимка Дитмер, личный секретарь князя, делал скорбный доклад:

– Две тарелки с вензелями разбились, в ящик с пистолетами вода натекла. Ямщики бутылку мальвазии украли. Конюх Афонька в карете спал. Ковёр с телеги в лужу уронили. Мешок порвался, и Митькина кобыла вчера ночью кисти с балдахина жевала. Повар Гельмут сказал, что завтра повесится.

У Матвея Петровича ныли ноги, намятые ходьбой, ломило поясницу, штаны на колене он прожёт у костра, лоснилось брюхо камзола – это Матвей Петрович пролил на себя жирный суп. А Ефим всегда был чистый, умытый, спокойный, вежливый, с приятной улыбкой.

На тяжком отроге Павдинского камня обоз преодолел главный перевал, отмеченный большим ветхим крестом с кровлей, и дальше дорога покати́лась под гору, а вскоре – за маленькой ямской деревней Караул – выправилась и выпрямилась. И потом вдали за широкими покосами Матвей Петрович увидел шпиц колокольни: они дотащились до Верхотурья.

Князь Гагарин не был здесь пятнадцать лет и удивился оборотистости верхотурцев. Над рекой Турой на каменном утёге Троицкого мыса вместо прежней деревянной церкви возвышался краснокирпичный собор. Могучую восьмистенную башню венчала корона из пяти фигурных куполов. Рядом стояла тоненькая и высокая зубчатая колокольня – словно острый гранёный кол. Вокруг окошек и под карнизами кипели кудрявые кружева из тёсаного кирпича,

блестела полоса изразцов. Конечно, причина сей красы была в доходах от таможи. С таможеней он, князь, разберётся.

Наконец-то он спал на перине в большом доме коменданта. Наконец-то ему готовили в печи, а не на костре. Но отдыхать князю было скучно.

Благодарственный молебен в Никольской церкви завершился зычной аллилуйей архи-дьякона. Народ загомонил, оглядываясь на губернатора – такого важного столичного человека. Рослый, грузный Гагарин возвышался над толпой на полголовы. Рядом с ним, оттирая верхотурского коменданта, всё время оказывался игумен Николаевского монастыря – ждал милостей. Он любовно взял Матвея Петровича под локоть и повёл целовать вынесенное алтарником на престольное распятие, подарок царя Алексея Михайловича. Гагарин благоговейно приложился к серебру креста и отошёл; у креста сразу началась толкотня, словно поцелуй князя вселил в святыню особую силу.

– Симеона посмотреть хочу, отче, – попросил Гагарин игумена.

– Ты разве не заметил? Вон рака-то, – игумен указал в угол храма.

За сутолокой Матвей Петрович и вправду не заметил раки. Матвей Петрович двинулся к ней, и народ охотно раздался в стороны. Всем в храме было лестно внимание губернатора к верхотурским чудотворным мощам.

Явление мощей святого произошло ещё до того, как Гагарин уехал из Сибири, но гроб оставался в деревне Меркушино, и князь его не видел.

– Гробовина-то из земли всплыла, – рассказывал сзади игумен. – Како подняли колоду, под ней родник забил. Крышку открыли – покоится муж нетленный, и вокруг тотчас благоухание разнеслось. Митрополиту Игнатию трижды во сне видение было – сонм народный глаголет: «Симеоном зовут его!». Игнатий комиссию созвал, даже сам Исаак Далматовский приехал, архиерейским приговором засвидетельствовали чудотворения...

Строителя Исаака, сына старца Далмата, в Сибири уважали больше, чем митрополита, боярина из рода Римских-Корсаковых. Князь помнил владыку: Игнатий благословлял его на нерчинское воеводство. Толстый старик с острым и злым умом. Любезный друг правительницы Софьи – за неё и угодил в Сибирь. Потом его зачем-то вызвали обратно в Москву, а он напал с обличением на патриарха Адриана и был заключён в Симонов монастырь. Ходил слух, что там его заморили голодом. Всё может быть.

Гагарин подошёл к раке Симеона – большому деревянному ящику, покрытому резным узорочьем. В изголовье раки имелось слюдяное окошко. Гагарин наклонился, чтобы рассмотреть лицо Симеона, но ничего не увидел за мутной слюдой. Гагарин поцеловал вышитый покров на гробе.

– Тысячу рублей жалую на обитель, – распрямляясь, сказал он игумену. – Резьбу позолотите, и образ написать надобно.

На душе у князя стало легко, правильно. Матвей Петрович почувствовал себя мудрым и щедрым начальником, с которым людям хорошо.

Возле храма его ждала приведённая в порядок карета.

– На таможенный двор, – велел князь кучеру, ступая на подножку.

Толпа осталась возле церкви – там с крыльца приказчик раскидывал мелочь. В карете Матвея Петровича ждал Ефим Дитмер. Эстляндский немец, он был протестантом и старался не ходить в русские православные храмы. Карета качнулась, когда на запятки влез лакей Капитон. За экипажем князя покатались две подводы с солдатами.

Верхотурская таможня открывала Сибирь, а закрывала её таможня в Нерчинске. Были ещё и промежуточные таможи, например, в Тобольске. Все они перегораживали государственные тракты, собирали с купцов пошлину – десятую цену товара, и следили, чтобы торговые людишки не везли того, что запрещено. А купцы хитрили: в обход таможен прокладывали в

лесах тайные воровские дороги. Сибирские воеводы выслеживали эти пути и наглухо заваливали их засеками из деревьев, а изловленных купцов бросали под кнут.

Начальников на таможни назначал Сибирский приказ – на словах, а на деле – московские воротилы. Они вели торговые дела придворных вельмож, с которыми Сибирский приказ спорить не смел. Князь Гагарин, начальник приказа, принял бы такой порядок, но государь учредил в Сибири губернию, переименовал таможенных голов в надзиратели, велел им надеть мундиры и подчиняться губернатору. Матвей Петрович понял, что теперь таможни – его законная вотчина. Следовало выбить прежних надзирателей и поставить своих. Верных человечков для князя Гагарина подыскал давний товарищ по коммерции, столичный купец первой статьи Матвей Григорич Евреинов.

Обширный двор таможенной избы был огорожен крепким сибирским заплотом из лежащих брёвен. Но заехать за ворота у князя не получилось: весь двор загромождали телеги с тюками, возки с бочками, фуры с мешками и колымаги, загруженные берестяными коробами. Сторожа таскали товары в казённые погреба и лабазы, ямщики выпрягали лошадей, купцы спорили с приказчиками. Князь, кряхтя, вылез из кареты и пошагал к таможенной избе пешком. За ним шёл Дитмер, потом – лакей Капитон, потом – солдаты.

– Да как я тебе покажу, сучий ты потрох? – горячился какой-то купец. – Я же кадушку засмолил! Открою – всё протухнет! На слово ты не веришь?

– Не верю! – упрямылся приказчик. – Не положено!

Гагарин подошёл к другому купцу, который развязывал поклажу.

– Крепко прижимают? – дружески спросил он.

– Когда тут давили вполсилы? – злобно ответил купец, не оборачиваясь.

– Я вот уже неделю заздесь кукую, – сказал мужик, лежавший в кузове телеги, и зевнул. – Целовальник мзду вымогает, а у меня нету.

– В прошлом году я шесть штук холста вёз, – с обидой сообщил ещё один купец; он сидел на чурбаке и пришивал на армяк заплату. – Надзиратель забрал себе две штуки. Это он так десятину мне высчитал.

– Давай, братцы, жалуйся на крапивное семя, – радушно предложил князь. – Я Матвей Гагарин, губернатор сибирский.

Купец с армяком оробел, вскочил и поклонился.

– Бог помощь, князь.

– Матвей Петрович? – услышал Гагарин. К нему меж телег пробирался толстяк в расстёгнутом камзоле. – Митрофан Кутепов я, может, слышал, князь? Мой отец у Лексей-Михалыча окольниковым был.

– Всех не упомнишь, – пожал плечами Гагарин. – В чём дело-то?

– С дочерьми с Иркутска еду, – торопясь, объяснил Кутепов. – А таможенный надзиратель не пропускает, печать на подорожную не ставит. Говорит, бывало, бабы под юбками соболей беспощинно провозили. А я не хочу, чтоб моим девкам подолы задирали.

– Вот ведь заноза, – озадачился Гагарин. Он знал, что на верхотурской таможне дозволено раздевать даже боярынь. – Слушай, Митрофан... Э-э?

– Палыч, – угодливо подсказал Кутепов.

– Слушай, Митрофан свет Палыч. Плюнь ты на спесь да задери девкам юбки. И езжай потом, куда хочешь.

Купцы вокруг засмеялись, Дитмер тоже скромно улыбнулся. Гагарин, довольный успехом, направился к тесовому крыльцу таможенной избы. Митрофан Кутепов смотрел ему вслед и укоризненно качал головой.

В просторной горнице в углу громоздилась белёная печь, а дальнюю стену занимали поставцы, плотно забитые кожаными коробками с описями и учётными книгами. Купцы, ожидая печати, теснились боками на длинной лавке вдоль стены с окошками. За большими сто-

лами важно сидели и писали дьяки, целовальник с большим крестом на шее и надзиратель в мундире. Окна были открыты; пахло воском, дѣттем сапог и пылью; жужжали мухи.

– Сколько, говоришь, пудов? – не глядя, спрашивал дьяк.

– Сорок два, – быстро отвечал купец.

Матвей Петрович вошёл в горницу, нарочито выставляя брюхо вперёд. Зашарканые половицы под его башмаком жалобно заскрипели. Надзиратель проворно вскочил, побежал навстречу и склонился, прижимая руку к сердцу. Но Матвей Петрович сжал кулак и прямо в поклоне сшиб надзирателя с ног пушечным ударом в ухо. Надзиратель отлетел к печи, будто вязанка дров, потом сел в мусоре подпечья и прижал ладонь к уху, в изумлении глядя на Гагарина. Дьяки, целовальник и купцы застыли с открытыми ртами.

– Ах ты ворюга! – по-хозяйски взревел Гагарин. – Да я тебя по плешь в землю вколочу!

– Ты пьяный, никак, государь? – ошеломлённо спросил надзиратель.

– Всю таможеню себе в карман засунул, злодей! – гневно орал Гагарин. – Ну ничего, государя не обдуришь!

В надзиратели ставили не абы кого, московское купечество подбирало для дальних таможен самых толковых и неробких людей. Поэтому Матвей Петрович решил сразу сокрушить противника, чтобы потом не жаловался.

– Чего городишь? – злобно спросил надзиратель, приходя в себя.

– Там весь двор воем воеет, выжигает! – Матвей Петрович указал в окно.

– И что с того? – надзиратель поднимался на ноги и отряхивался.

Из-за плеча Гагарина Дитмер с любопытством разглядывал горницу. Капитон хмурился. Солдаты стояли у двери и злорадно улыбались.

– Когда купец на таможене не вопил? – спросил надзиратель. Он быстро догадался, что губернатор что-то задумал. – Всегда купец вопит!

– В ратуше стол завели доносы на тебя читать! – налегал Гагарин.

– С каких петухов-то? – надзиратель не собирался сдаваться. Не Гагарин его сюда поставил, не ему и пенять. Так было при воеводах, так будет и впредь хоть при каком начальнике. – Сколь дозволено кормиться от службы – столь я и кормился! Больше брюха под рубаху не пихал!

В открытых окошках появились рожи таможенных сторожей. Они слышали ругань и крики и заглядывали с улицы.

– Я теперь губернатор, и я тебя от места отставляю! – важно заявил Гагарин. – Ещё поклонись, что комиссарам не сдаю!

– Свой ли ты калач укусил, Матвей Петрович? – ощерился надзиратель.

Гагарин оглянулся на солдат.

– Ребята, волоките его отсюда!

Солдаты охотно кинулись к надзирателю, заломили ему руки и поволокли из горницы, развалив поленницу у печи. Матвей Петрович не испытывал ни смущения, ни сочувствия. Те, кому он причинял зло, как бы переставали для него существовать. А Сибирью его бог наградил, и он действовал в своём праве: дают – бери.

– Ефим, кто у нас записан на Верхотурье? – спросил Гагарин.

– Купец тверской гостиной сотни Кондаков.

– Зови его сюда, пусть дела принимает.

Матвей Петрович победно оглядел всех в горнице – купцов, дьяков, целовальника и сторожей в окнах – и усмехнулся. Принимайте губернатора.

Глава 5

Пока плывут большие рыбы

Язычники не ходили на свои капища, как православные ходят в церкви, а мусульмане – в мечети. На капища ходили шаманы с подручными и реже – князья. Но брать в заложники князя всей Кодской волости, да ещё и без приказа берёзовского коменданта, для простых служилых было слишком нагло, поэтому есаул Полтиныч вёз в дощанике старого шамана Хемьюгу. Путь оказался недалёким: от Певлора спуститься по Оби на три версты до устья небольшой речки, что текла со священных увалов Нум-То, дальше вверх по речке с десятков вёрст – и будет певлорская кумирня с истуканами.

Река сама несла дощаник, и служилые не гребли.

– Шаман сказал, что туда-обратно за сутки оборачивается, – рассуждал Полтиныч, – но он старик. Думаю, мы побыстрее сбегает. Так что харч брать не будем. Перебьёмся на сухарях. Прощка, тебя оставлю дощаник караулить. И девку, – Полтиныч кивнул на Айкони.

– Я не согласный! – сразу вскинулся Прощка. – Вы на требище хабар будете брать, а мне на Оби пустому куковать? Нечестно, есаул!

– Поделится потом.

– Не смейся, дядя Полтиныч. Мы не казаки, чтобы дуван дуванить. Кто сам себе не возьмёт, тому волчьи хвосты. Я в карауле не останусь.

– Тогда ты, Терёха.

– И я не останусь, – возразил Терёха Мигунов.

– А кто же останется? – удивился Полтиныч.

– Дураков нету.

Служилые понимали: добыча на капище – добыча себе, а не воеводе.

– Почто его караулить, дощаник-то? – примиряюще сказал служилый Никита. – Закидаем ветками, чтобы никто не увидел, и всё.

Опытные люди знали, что остяки никогда не воруют, но почему-то и сами в это не верили.

– Ненадёжно. Да и остяки Певлора знают, куда мы двинули. У нас полны коробка воеводской рухляди. Нужен сторож. Будем жребий кидать?

– Не сердчай, ребята, но я жребию не подчинюсь, – заявил всем Ерофей. – Я «гуляющий человек», сегодня с вами, завтра сам по себе. Артельный интерес – не мой. Удачей я жертвовать не стану.

– Тогда и я жребия тоже не приму, – сказал ещё один служилый.

– Мятеж? – удивился Полтиныч.

Никто не хотел охранять судно, пока другие будут обшаривать остяцкие лабазы, однако бросить дощаник без присмотра есаул боялся.

– Ладно, братцы, я покараулю, – вдруг подал голос Юрка.

– С чего это ты расщедрился? – усомнился Полтиныч.

– Я солдат, – Юрка с наигранной простотой пожал плечами. – Мне добро копить не с руки. Вы народ вольный, а я под присягой.

– Вот и спору конец, – сразу согласился Терёха Мигунов.

На самом деле Юрка хотел снасиловать девку-остячку. Не потащат же её служилые за собой на капище. Юрка и так и сяк примеривался, как бы ему вылучить момент, чтобы не помешали, и вот удача сама шла в руки. Юрка истосковался без баб, только о них и думал, всё тело напрягалось, когда видел баб, и живот обдавало тягучим жаром. Лиц у встреченных баб Юрка не различал, имён не слышал, видел только налитые округлости грудей и задов. По молодости лет баба казалась Юрке куда заманчивей корысти.

Служилые в дощанике нехорошо замолчали, догадываясь о намерениях поганца Юрки, но никто не вызвался заменить Юрку на карауле. Девка не сдохнет, а вот выгоду можно упустить безвозвратно.

Айкони не понимала, о чём сейчас без слов договорились эти сильные мужчины, да она почти и не разбирала русскую речь. Она вообще не думала, куда и зачем её везут. Отец не раз отправлял её – с сестрой или одну – в работу на помощь мужчинам или женщинам Певлора, и никогда ничего не объяснял ей. И никто, кроме сердитого отца, никогда её не обижал.

Айкони легко оправилась от первой робости, и сейчас ей было радостно и любопытно. Она никогда не плавала по реке в такой большой лодке. Так хорошо светило солнце, так много вокруг было свежести и яркой тихой воды. Айкони сидела на скамье у борта дощаника и смотрела в воду. Под брюхом лодки она каким-то образом видела всю чистую глубину Оби: там скользили косяки больших, как люди, холодных рыбин с гладкими крапчатыми боками. Их движение было ровным и грозным, трепетали перья плавников, качались жабры, а плоские глаза смотрели по сторонам, словно рыбы не сомневались, что пространство впереди свободно – вся речная мелочь удрала с дороги.

Айкони знала, откуда идут эти рыбы. Где-то далеко-далеко, там, где Обь впадает в небо и превращается в Млечный путь, сидит на берегу Обский Старик, добрый и кроткий, как дедушка Хемьюга. День и ночь, летом и зимой Обский Старик большим ножом строгаёт вечную палочку, а стружки падают в волны и становятся рыбами, и так рождается косяк за косяком. Метут снега или цветёт тундра, а Обский Старик всё строгаёт свою палочку. И ничего ни с кем не делается плохого, пока в Оби царят большие рыбы.

Айкони смотрела на бородатых русских мужиков, и ей нравилось, что мужчин много и они так слаженно управляют своей лодкой. Веселей всех был светловолосый парень, который улыбался ей и не отводил глаз. Айкони, играя, подалась налево, а потом направо, но парень словно бы ловил, хватал её взглядом, не отпускал, и от этого было щекотно.

Только шаман Хемьюга сидел у другого борта понуро, нахохлившись, и по его морщинистому лицу время от времени скатывалась слеза. Айкони охотно, но без душевной тяжести пожалела Хемьюгу: он старый, скоро он уйдёт к предкам во тьму, которую приходится разгонять кострами небесного сияния, и ему не хочется покидать этот тёплый и дружелюбный мир.

Устье речки, на которое указал Хемьюга, было завалено свежим буреломом – его натащило бурным вешним течением. Служилые выволокли дощаник носом на берег и ещё привязали к толстой сосне. Полтиныч раздал сухари. Служилые подтягивали сапоги, перепоясывались, заряжали ружья – на длинном переходе по тайге мог встретиться медведь. Юрка услужливо помогал товарищам. Айкони сидела в траве. Хемьюга подошёл к есаулу.

– Он дурной, – сказал Хемьюга по-русски, показывая на Юрку. – Не надо его. Возьми себе. Пусть другой здесь ждёт.

– Без тебя решили, – недовольно ответил Полтиныч.

– Айкони хорошо – я не скажу духам про вас, – пообещал Хемьюга. – Айкони плохо – позову духов.

– Плевали мы на твоих духов.

Полтиныч не боялся шаманов. Есть, конечно, среди них колдуны, но редко. И у самоедов, а не остяков. И этот хрыч – не колдун, а просто глупый дедок, сам себя убедивший в своей бесовской силе.

Семь лет назад тогдашний берёзовский воевода Левонтий Хрущов вдруг объявил служилым, что царь Пётр повелел ему найти и прислать шаманов, чтобы посмотреть, как они шаманят. Полтиныч сумел словить воеводе двух сатанёнышей – поймал их на стойбище у самоедов на Харпе, за Обдорском. Ну, привёз в Берёзов. Воевода приказал камлать. Шаманы принялись бить в бубны, хрипеть, кувыркаться; измотались, как собаки, но чудес никаких не сотворили.

Ежели бы не оговорка царя «не стращать», кинул бы Хрущов этих мошенников под кнут, а так – прогнал взащей восвояси, и всё.

– Беда будет, не надо, – жалобно попросил Полтиныча Хемьюга.

– Отстань.

И они ушли в тайгу: Хемьюга, спотыкаясь, брёл первым, палкой пробуя путь, а в спину ему время от времени тыкал ружьём Ерофей, и затем друг за другом шагали служилые. Тайга приняла их, и Обь исчезла за рядами ёлок.

А Юрка остался на берегу с Айкони.

Юрка разжигал костёр, готовил ужин, а Айкони просто сидела в траве, сидела между огромным лесом и огромной рекой. Ей ничуть не было скучно. Она всегда ощущала в себе присутствие сестры, могла сказать, чем сейчас занята Хомани, о чём она думает, что у неё на душе. Ведь они обе, Айкони и Хомани, – один человек, так говорил отец, а человек всегда всё знает о себе. И Айкони не томило одиночество. Однако, кроме сестры, была ещё и тайга.

Люди ушли с берега, и тайга вокруг Айкони доверчиво успокоилась. Маленькие ёлочки облегчённо распушились. Поблизости от Айкони лежала поваленная сосна, и Айкони заметила, что из-под ствола этой сосны на неё смотрит любопытная лисица. Звери не способны читать мысли, с ними надо разговаривать. «Это я, Айкони», – сказала Айкони лисе одними губами. Из тайги на реку плыла тёплая, смолистая, густая тишина, но Айкони умела слышать в ней души звуков. Вот шумит завтрашний ветер; вот тоненькими-тоненькими, тоньше волоса, голосами все разом лопочут друг с другом хвоинки; вот чуть потрескивают, тихо созревая, кедровые шишки.

Тайга была наполнена тайной, невидимой жизнью, но Айкони её видела. Деревья, которые при людях притворяются спящими, открыли глаза. Трава невесомо трогала Айкони кончиками былинки, ощупывала, изучала. В сумрачно-солнечной чаще появились рогатые таёжные страшилища – они словно отслоились от узловатых стволов и бурелома; Айкони знала, что на самом деле эти страшилища были глупыми и пугливыми, как лоси, и всегда жили в тени. Прозрачные призраки будущих зверей потянулись из тайги к реке на водопой. Даже комары не досаждали Айкони – они исчезали от одного только взмаха еловой лапки перед лицом. Бескрайняя тайга обладала неизмеримой мощью, она могла уничтожить человека, будто муравья, в страхе или в гневе она могла породить демонов или чудовищ, как грозовая туча порождает молнии, но в потаённой глубине она была застенчивая, чуткая, нежная, девственная, и Айкони была допущена в эту глубину.

А солдат Юрка торопливо готовил ужин, косился на девуку-остячку и всё примеривал, далеко ли ушли есаул и служилые, не вернутся ли они в самый неподходящий момент? Юрка не знал ни лесной жизни, ни крестьянской. Он был из двора графа Шереметева и всегда жил при господском доме, усвоив все привычки холопа: хозяевам – ври; что плохо лежит – твоё; работа – для дураков. Ещё подростком Юрка наловчился воровать из кладовой у ключницы, допивать за барами из кубков и лазать в баню к девкам. Однажды сам граф Борис Петрович застал его на конюшне пьяным, велел выпороть и отдать в солдаты. Так Юрка оказался на царской верфи в Воронеже. Ненавистная служба лишила Юрку всех сладостей жизни, а смириться он не умел и деятельно искал лазейки. Отказаться от девки было выше его сил.

Незакатное солнце зависло над дальним берегом Оби. Юрка решился. Кривовато улыбаясь от волнения, он подошёл к сидящей в траве Айкони, наклонился и ударил кулаком ей в лицо. Айкони молча упала навзничь, ошеломлённая, а Юрка схватил её за руку, рывком поднял на ноги, подтолкнул к лежащей неподалёку сосне, повернул и повалил на колени – животом на толстый ствол. Заломив девке руку, Юрка потащил вверх подол просторного остяцкого платья и едва не спятил, увидев голый девичий зад.

– Тихо, тихо, тихо, тихо... – задыхаясь, бормотал он.

Айкони было очень больно, и стыдно, и страшно, и невозможно было поверить, что всё это происходит с ней наяву, ведь чужие люди никогда не обижали и не били её. Её будто безжалостно выворачивали наизнанку против человеческого естества, разрывая тело. Чужое хищное вторжение в себя показалось ей нападением злого духа, который вселяется в человека и раздирает его изнутри. Её охватил ужас, и она заколотилась, как рыба. Но Юрка не выпускал девку, наотмашь хлестал ладонью по скуле и продолжал насиловать, пока с рычаньем, дергаясь, не лёг на неё, елозя ногами в траве.

Потом он подался назад, вскочил и трусовато отбежал, с опаской глядя на растерзанную остячку. Айкони сползла со ствола, оправляя подол. Она ошущала себя измятой, истоптанной, выпотрошенной, преданной. С ней сделали это... словно украли бессмертие... словно превратили в животное... И солнца над Обью больше не было. И лес молчал, замкнувшийся и пустой. И река была глухая, непрозрачная. Просто лес и река – без всего.

А далеко от Оби шаман Хемьюга в это время стоял на краю капища и смотрел на большой кедр, в ветвях которого вдруг всполошились и зашумели кедровки. Переполох кедровок – это беда. Значит, там, у русского судна на берегу Оби, всё-таки случилось то, чего Хемьюга так боялся.

Сюда, на капище, Хемьюга приходил редко. Здесь он говорил только с большими богами, которые живут на высоком небе, а лишний раз тревожить таких богов не стоило. Если затяжная стужа, или голод, или падёж оленей – тогда надо было идти сюда, а для обычной жизни, которой управляют мелкие духи, у Хемьюги имелся особый балаганчик за оленьим загоном – «тёмный дом». Там Хемьюга лечил, гадал и уговаривал духов послать удачу.

Капище находилось на поляне, которая наискосок съезжала к мелкому верховому болотцу. Поляна заросла высоким бурьяном, из травы кое-где углом торчали полуистлевшие срубы развалившихся старых лабазов. Лет десять назад Хемьюга построил три новых священных лабаза, три чамьи: они стояли на столбах, а их двускатные кровли уже покрыл мох. Над болотцем вздымался высокий двуногий идол; слева у него была одна рука, а справа – две; вместо лица у идола было прибито почерневшее и помятое серебряное блюдо, а на груди идола Хемьюга вырезал ещё одну личину. К двум соснам на опушке была привязана жердь, к которой Хемьюга стоймя привалил менквов – малых болванов. Их было семь, как и положено: старший слева, младший в середине, средний справа. Заострённые головы менквов были обвязаны платками и увенчаны лохматыми шапками. На краю поляны раскорячилась на ветвях огромная упавшая ель; хвоя и кора с неё давно облетели; тонким концом вершины ель уходила в подёрнутое ряской чёрное болото. Бессолнечное небо освещало капище странным неживым светом.

– Гиблое место, – негромко сказал кто-то из русских.

Служилые разбрелись по капищу, озираясь; ружья у них были заряжены, хотя бога не убить из ружья. Ерофей сразу направился к большому идолу, остановился возле него, пошлёпал истукана ладонью по резному рылу на груди, словно проверял, не укусит ли чудище, вытащил саблю и попытался клинком отколупнуть серебряное блюдо, приколоченное вместо личины. Никита и другой служилый по пояс в бурьяне прошли на край поляны к остроголовым менквам, принялись снимать с них шкуры и шапки и пихать в мешки. Терёха Мигунов обеими руками упёрся в угол сруба упавшего лабаза и раскачивал его, высвобождая из-под замшелой дырявой кровли.

– Что там было, уже гнильё, – сказал Терёхе служилый из молодых.

– Не брехай, лучше помоги, – сопя, упрямо ответил Терёха. – Они в лабазы куклу большую кладут, кукла в одежках, платками обмотана. А в углы платков монеты завязывают. Монеты не сгниют.

Служилый тоже упёрся руками в сруб рядом с Терёхой и подналёг.

– Боязно тут, – сказал он.

– Дело делай. Мы не на погляд явились.

– Здесь беса тешат, – вполголоса сказал служилый.

Сруб закрипел жалобно и как-то неприятно-сочно.

Полтиныч попробовал на прочность бревно с вытесанными ступенями, которое вместо лестницы вело в лабаз, стоящий на четырёх столбах. Бревно было крепким. Полтиныч осторожно полез наверх, в лабаз, и открыл дверцу, подвешенную на кожаных петлях. Пахнуло прелой вонью.

В лабазе было сумрачно. По стенам на деревянных гвоздях, воткнутых меж брёвен, висели расписные покрывала – порядок их расположения был ведом только шаману. На чурбачках лежал, будто мертвец, небольшой идол с грубой и злой мордой, одетый в шубу. Стоял большой берестяной короб, крышку которого Хемьюга намертво пришил к стенкам оленьими жилами. Ворочаясь в тесноте, Полтиныч достал нож и начал вспарывать короб.

Обшаривая богов, русские забыли про шамана. А Хемьюга вышел на середину капища, сбросил пояс и нацепил на лицо берестяную маску с прорезями для глаз и острым клювом. Он согнулся, накинув одежду себе на голову, тихо запел и стал крутиться, топчась в зарослях. Он переваливался с бока на бок, словно птица, и мёл распушенными рукавами по траве. И вслед за верчением шамана вокруг капища побежал ветер, зашевелил бурьян на поляне и папоротники в лесу, зашумел мелкими ёлочками. Служилый, что лез в другой лабаз, сверху увидел Хемьюгу и тотчас сорвался с бревна.

– Блядий сын! – падая, заорал он.

Терёха Мигунов оглянулся на вопль и тоже увидел шамана, крутящегося на месте, как подраненный ворон.

– Ах ты погань болотная!.. – ощерился он.

– Господи боже, помоги рабу своему! – побледнел молодой служилый.

Всё уже было неладно. Края поляны и глубину леса затягивала какая-то слепота. В непонятном тоскливом мороке деревья в чаще, кажется, медленно шевелились, колыхались – то ли сами оживали, то ли их трясли: похоже было, что из бездны тайги что-то огромное и невидимое приближалось к капищу, по пути натываясь на ели и кедры. Ряска на болотине задрожала, из чёрной воды тихо всплывали какие-то облепленные травой бугры.

В тесном лабазе Полтиныча внезапно повалило на пол, будто избушка наклонилась набок, подобно лодке. Полтиныч выронил нож и, ругаясь, бешено заворочался, цепляясь за короб и за идола, срывая со стен покрывала. Его катало по каморке в ворохе шкур и тряпья, и он пытался удержаться враспор. В проёме входа он видел, как мимо проплывают деревья, точно по берегу реки. Мелькнуло серое мерцающее небо, а в нём будто бы парила огромная птица, вся из дыр. Мелькнула мёртвая поваленная ель на краю капища – это был костяк огромной рыбы: ствол – хребет, ветви – рёбра и плавники, корневище – череп с глазницами и раззявленной пастью, а хвост шевелится в болоте. На капище слышались вопли служилых.

– Стреляй по шаману! – заорал Полтиныч.

Снаружи грохнул выстрел. И свистопляска сразу унялась.

Хемьюга лежал в вытоптанном бурьяне, ворочался и стонал. Русские ошалело поднимались с земли. Молодого служилого тошнило, как после качки в бурю на реке. В дрожащих руках у Ерофея дымилось ружьё. Полтиныч спрыгнул из лабаза, и его пошатнуло. Тайга взволнованно шумела.

– Вот ведь дьявол остяцкий! – потрясённо сказал Терёха.

– Уходить надо отсюда, – Полтиныч длинно сплюнул кровью от прикушенного языка. – Сгубят нас кикиморы, точно.

Ерофей подошёл к шаману и присел на корточки.

– Может выжить, – осматривая Хемьюгу, сказал он.

– Добей его! – с отчаянной ненавистью крикнул молодой служилый.

– Бросим его тут, пущай его бесы лечат.

- Полтиныч, надо его унести, – Ерофей убеждённо поглядел на есаула.
- Почему?
- Мы ещё не волки.

Однако все служилые чувствовали другое: добить шамана никто бы не решился, а разграбленное капище не смирилось; оно было как живой зверь, которого просто прижали к земле рогатиной. Надо забрать шамана, чтобы не пустил своих демонов по следу русских.

Они шли обратно как можно быстрее. Таёжная тропа была уже знакома. Хемьюгу тащили в шкуре, подвешенной к длинной жердине, а жердину несли все по очереди. Но мешки с добычей тоже никто не бросил.

К дощанику на берегу Оби служилые выбрались на восходе солнца. Дальний низкий берег прочертился алой линией между двумя объёмами синевы. Восход был как избавление от гнева оскорблённой тайги, и никто из служилых не пожелал заметить, что девчонка-остячка избита и растерзана. Хватит грехов, и так сатана уже в подол зубами вцепился. Юрка бегал, помогая, и заискивающе заглядывал в лица служилых. Полтиныч ему ничего не сказал. Хемьюгу вывалили в траву, и старик застонал.

– На судно, и угребаем, – устало сказал Полтиныч. – На воде отоспимся.

– А этот? – Ерофей указал на шамана.

– Сам к своим уползёт. До Певлора три версты.

– А ежели не уползёт?

– Чего ты хочешь, Колоброд? – обозлился Полтиныч. – Я его к остякам не попру! На шиша он камлать начал? Сам виноват!

– Я стрелял, я и попру, – мрачно согласился Ерофей. – А вы меня обождите здесь, добро?

Он очень устал, глаза вело вкось с недосыпа, но нельзя было упускать удачу. Пока что ему очень везло. В Певлоре тайком от Полтиныча он сунул за пазуху отличного соболя, а на капище отколупал от истукана серебряное блюдо. Надо было успеть ещё что-нибудь урвать, пока ангел помогает.

Ерофей, отдыхая, посидел на берегу и перекусил, размочив в воде юколу. Служилые повалились спать, а Ерофей залез в дощаник и вытащил большую лосиную кожу, крепкую и грубую, как кора, – её просмолили, чтобы закрывать груз от дождя. Ерофей положил раненого старика на кожу и волоком потянул в Певлор.

Он шёл по берегу Оби и шурился, когда искра от волны попадала в глаза. Старик вроде ничего и не весил – кожа легко скользила по траве. Пели птицы. Ерофей пинками отбрасывал с пути коряги. Он размышлял: чего можно было бы потребовать с остяков, уже дважды ограбленных, за то, что доставил их шамана? Остяки дадут, они же не знают, что этот спаситель сам и подстрелил спасённого; главное – придумать, что просить. И вскоре вдали показались прозрачные дымы остяцкого селения.

Жители Певлора увидели Ерофея и высыпали навстречу. Ерофей сразу бросил шкуру со стариком, не прекращая движения к Певлору. Он уже еле переставлял ноги. Остяки бежали – но мимо Ерофея, не обращая на него внимания. Они спешили к шаману, и Ерофей услышал за спиной горестные вопли и бабий плач.

В селении было пусто, если не считать безмолвных стариков, похожих на идолов. Они сидели у землянок и чумов и смотрели на Обь. Ерофей прошёл к костру; сбоку на углях стояла глубокая сковорода с варевом, из которого торчали рыбы хвосты. Ерофей медленно опустился на землю, достал из-за голенища ложку и сразу по-хозяйски принялся хлебать из сковороды. Это была шерба – уха. Ерофей слышал взволнованные голоса остяков возле брошенного им шамана.

А потом у костра появился Пантила – молодой певлорский князёк. Он молча присел напротив Ерофея.

– С тебя плата, что я шамана принёс, – сказал Ерофей, облизывая ложку.

– Хемьюга мёртвый.

– Как? – поразился Ерофей. – Совсем недавно стонал!

– Мёртвый, – задумчиво повторил Пантила.

Это был удар судьбы. Все усилия оказались напрасны. Ерофей в досаде сунул ложку обратно за голенище. Да провались всё! Оборвалась удача!

– Похорони его, – вдруг тихо попросил Пантила.

– Может, мне ещё жениться на нём? – разозлился Ерофей.

– Хемьюга был сильный шаман, люди его любили, – печально произнёс Пантила. – Но вы убили его, и теперь он злой дух. Он запомнит того, кто уберёт его с земли. Люди боятся. Похорони его сам. Тебе всё равно.

Ерофей поглядел в ту сторону, где оставил лосиную кожу. Остяки по-прежнему толпились вокруг тела шамана и галдели, обсуждая и горюя, некоторые стояли на коленях, но никто, похоже, не прикасался к покойнику. Надежда вновь взбодрила Ерофея.

– Заплатишь – закопаю, – ухмыльнулся он.

– Что тебе дать? У нас всё взяли.

– Ты князь, тебе видней.

– У Хемьюги были пески за островом Нахчи. Возьми их себе на лето.

– Пески? – не поверил Ерофей. – На будущее лето?

Песками на Оби называли рыболовецкие уголья. Получить уголье – это не соболиный хвост и не серебряная тарелка, это настоящая удача!

– Делай дырку! – решительно сказал Ерофей.

Он достал свой нож и протянул остяку. Ни писать, ни читать Ерофей и Пантила не умели, и потому Ерофей потребовал клятвы по-таёжному – на дырке. Это когда в знак обещания остяк вырезает на своей рубахе небольшой лоскут и отдаёт тому, кому что-то пообещал. Лоскут, равный дырке, для воеводского переписчика подтверждает правдивость уговора. Не выбросит же остяк рубаху из-за маленькой прорехи.

Пантила вздохнул и взял нож Ерофея.

Вечером, когда солнце опять коснулось дальнего берега Оби, на лесной поляне в двух верстах от Певлора берёзовский служилый человек Ерофей Быков копал могилу. Он орудовал мотыгой с железным клювом; мотыгу ему дал князь Пантила. Рядом на лосиной коже лежал мёртвый шаман Хемьюга; как просили остяки, Ерофей связал шаману руки и ноги и обмотал голову шкурой. По кедром, что вздымались над поляной, искрами шныряли белки. Однако яма у Ерофея получилась не слишком глубокая – в аршин: мотыга упёрлась в вечную мерзлоту. Ерофей и долбил, и скрёб, но ледяная земля звенела и не поддавалась. Ерофей воровато посмотрел по сторонам. Свидетелей нет. Ерофей вылез из могилы, без всякого почтения, как мешок, спихнул в неё мертвеца, и принялся быстро забрасывать яму. Сойдёт и так.

Глава 6

Тюменский схимник

Плотбище в деревне Меркушино растянулось вдоль Туры на целую версту. Берег загромождали причалы и вымостки, купеческие амбары и балаганы бурлаков, груды тёсаных брусьев и ворохи досок возле рам пильных мельниц, кучи сучьев и обрезки. Зияли сквозной худобой длинные и высокие костяки будущих судов, ещё не обшитые по рёбрам бортовинами. Со склонов к воде тянулись лежащие спуски-лыжины из брёвен, по которым суда стаскивали на воду. Дымили грузные печи с замазанными в зев котлами для дёгтя или смолы; от дождей печи были укрыты навесами на столбах. Из реки торчали осклизлые сваи; могучие лиственничные ряжи, засыпанные битым камнем, прикрывали речную гавань от ледоходов; в мутной воде плавала разбухшая щепка, а на дне лежали утонувшие брёвна.

Меркушино было начальной казённой верфью Сибири. Наловчившись за сто с лишним лет, потомственные меркушинские корабельщики строили уёмистые грузовые ладьи, плоские полубарки для провоза сена и лошадей, ладные остроносые дощаники с высокими мачтами и поднятыми кормами, шитики, состёганные ивовыми вицами, лёгкие на ходу расшивы и насады. Великие реки издавна были основными дорогами через непроходимую таёжную Сибирь. Огромные потоки начинались неведомо где, в ущельях китайских хребтов, а заканчивались среди вечных льдов полуночного океана. И плотбище в Меркушине готовило корабли для всех, кого государев указ гнал на просторы степей, тайги или тундры. Ещё во времена Годунова первые русские воеводы на меркушинских стругах добрались до Иртыша и Оби и поставили остроги, из которых потом выросли Тобольск, Тара, Сургут, Нарым, Берёзов и Обдорск. Меркушинские плотники строили даже морские суда: это они сколотили круглобрюхие кочи, которые вышли в Обскую губу, чьи мрачные и бурные волны остывали в дыхании студёных ветров. Московские стрельцы сошли с кочей, согнали с зимовий новгородских ушкуйников и воздвигли сказочную Мангазею.

Для обоза губернатора Гагарина с меркушинских плотбищ против течения Туры бечевою подтянули к Верхотурью два десятка дощаников. На суда погрузили поклажу, завели лошадей и закатали карету. Судно самого губернатора изнутри было оббито красной материей, а на парусе топырил крылья двуглавый орёл. Под ружейную пальбу флотилия отчалила от пристани. Матвей Петрович поклонился народу на берегах, перекрестился на ближайшую колокольню и с удовольствием принял из рук лакея Капитона объёмистый кубок с вином. Все тяготы гужевого пути оставались позади. Спутники губернатора на своих судах тоже откупоривали флаги.

Только на реке Матвей Петрович ощутил, что он снова в Сибири, – услышал гулкую, грозную и беспокойную тишину тайги. Молчаливая Тура неспешно изгибалась между плоских боровых холмов; ровное и гладкое течение не нарушало отражений. Лес переходил в воду без видимой границы, сотканный с рекой стволами деревьев, упавших вершинами в зеркала.

От Верхотурья до Туринска плыли неделю. В Туринске комендант приказал стрелять из пушек и не пожалел своего ковра, расстелив его на сходнях. Купцы ломались в приказную избу целовать ручку губернатору, крестьяне тащили челобитные – секретарь Дитмер складывал бумаги в дорожный сундук. Потом за два дня добрались до Туринской слободы, где бурмистр приказал бить в колокола, и ещё за три дня – до Тюмени.

Тюмень началась с Преображенского монастыря, потом на взгорье правого берега появились посады и новый бревенчатый кремль с шатрами башен. Над крышами изб радостно возвышался Благовещенский собор – весь в узорах, с пятью полосатыми главами и с черепичными кровлями в косую клетку. Когда Матвей Петрович покидал Сибирь, этого храма ещё не было. Гудели колоколенки; встревоженная птичья стая с граем вилась над рощей, что выросла на пустыре заброшенного Кучумова городища. Дощаник губернатора окружили лодчонки жите-

лей, мужики приветственно орали и махали шапками. На гульбище деревянного минарета Бухарской слободы, расположенной по левому берегу Туры, вылезли имам и оба муэдзина.

Тюмень была очень важным для Сибири городом, и Матвей Петрович задержался здесь на несколько дней. Комендант Данила Копьёв поселил губернатора в лучших покоях Гостиного двора, стоящего на погребках. Князь Гагарин лично пролистал казённые книги в ратуше и на таможне, посмотрел запасы в новых каменных амбарах и поговорил с колодниками в тюрьме. Но главное дело у Матвея Петровича было в Преображенском монастыре.

Государь Пётр Алексеевич вручил князю Гагарину письмо для бывшего сибирского митрополита Филофея, который сейчас жил в обители как суровый схимонах Феодор. У государя имелось дело до Филофея.

В несуетной и добродушной Тюмени было уютно, как у бабушки на заднем дворе. Матвей Петрович пошёл в монастырь в простой одежде, без солдат, без Капитона и Дитмера. Накрапывал тёплый дождик. Гагарин шагал через Ямскую слободу по блестящим дощатым мосткам, кивал тем, кто ему кланялся, разглядывал на избах резьбу наличников, дымников и причелин. Подвернувшуюся на дороге козу он с удовольствием хлестнул хворостинкой. Под скрипучим мостиком на речке Бабарынке плавали гуси. В бревенчатой проездной башенке монастыря князя уже встречали игумен и келарь.

– Владыка ждёт? – спросил князь.

– Не ждёт, – ответил игумен.

– Он у нас никого не ждёт, – с простодушной гордостью пояснил келарь.

– Пойдём, Матвей Петрович, подведу тебя.

Монастырь внутри оказался небольшим. Скромные бревенчатые палаты с кельями, службы, конюшня, старая шатровая церковь, цветущий огород, маленькое кладбище с крестами. Но посреди подворья вздымался огромный кирпичный куб недостроенного храма. Поверху на его стенах ходили монахи в перемазанных рясах, таскали носилки и сами укладывали кирпичи.

– Владыка Троицкий собор затеял, – пояснил игумен. – Всех нас расшевелил. Своим коштом сами возводим, никто и гроша не дал.

– Я дам, – сказал Гагарин. – Как владыка-то?

– Ожил с божьей помощью, а то ведь совсем причащать готовились. Школу при обители завёл. Сейчас с отроками пиесу разучивает, хочет на Преображение народу показать.

– У него духовный тэатэр, – важно добавил келарь. – Зрелища разные богоугодные с поученьями. Хохляцкая придумка.

– Дождик вишь, Матвей Петрович, они все в подклет умотались.

Игумен открыл перед князем дверку в подвал будущего собора.

В подвале было довольно светло от небольших окошек. Покатые арки свода рябили свежим, ярким кирпичом. Вдоль стен стояли бадьи и грязные мешки с известью, лежали связки досок. На расчищенном закутке с ноги на ногу переминались несколько мальчишек лет по двенадцать – четырнадцать. Напротив них на лавке сидел владыка Филофей – тощий сутулый старик с длинными седыми волосами. Филофей оглянулся. Лицо у него было строгое и простое, словно с него стёрли всё лишнее.

– День добрый, князь, – сказал он, не вставая. – Обождёшь?

– Не ты меня, владыка, так я тебя, – хмыкнул Матвей Петрович, оглядываясь, на что присесть.

– Давай, Стёпка, слушаю, – Филофей повернулся к мальчикам.

Матвей Петрович смахнул пыль с бочки и уселся. Ему было интересно, какую такую забаву устроил владыка. Матвей Петрович слышал про духовные театры в Малороссии, но это вон как далеко от Сибири, да и жизнь там совсем другая... И владыка тоже понравился князю своей несуетностью. Впрочем, владыку любил царь – значит, и ему, князю, тоже надо любить.

Мальчишка, стоящий перед Филофеем, набрал в грудь воздуха, вытаращил глаза и завопил вирши:

Отец-мучитель сына угнетает,
вольно жить ему не позволяет!
Ныне, слава богу, от уз освобождился,
когда в чужую страну отмолился!
Филофей с сочувствием кашлянул в кулак.

– Подумай, Стёпка, о чём сии стихи? – рассудительно спросил он. – Юноша убегает из дома в гневе на отца. В гневе, Степан! А как в гневе человек ведёт себя? – Филофей испытующе поглядел на несчастного артиста. – Он же не орёт, как зазывала на базаре. Голос у него острый и прерывистый, руками он машет быстро и обильно, брови насулены, телеса напряжены. Вот так и положено изображать гнев, понял?

– А что за представление? – тихо спросил Гагарин у игумена.

– Притча о блудном сыне. Владыка сам сложил. Блудный сын – это которого к немцам учиться послали, а он там только пьёт и паскудит, собака.

– Петька, давай, – тем временем приказал Филофей.

Вместо Стёпки перед владыкой появился Петька. Он двигался боком, мелкими шажками, и, прижимая к груди икону с изображением Христа, тоненько закричал:

Пойди к отцу, до ног поклонися,
глаголя сие, пред ним умалися:
«Отче, согрешил я на небе пред тебе,
прими меня, грешнаго, обратно к себе!»

– А ты, Петька, сейчас не Петька, а глас божий, – принялся поучать Филофей. – Ты за самого Иисуса Христа говоришь, а Христос за нас всех печалится. Как печаль выглядит? Голос тихий и слабый, руки медленные, голова склонённая, слёзы бегут. Вот такая печаль, а не постная морда.

– Где владыка таких премудростей нахватался? – тихо спросил Гагарин.

– В Киеве, в Лавре, – прошептал келарь, умилённо глядевший на Филофея и мальчишек. – Он же там экономом был.

Перед Филофеем уже выступал третий мальчишка. Оскалясь, он зарычал:

За мзды воздаяние ручку те целую,
питии и ести с тобою взыскую!
Ха-ха-ха, мы добрые люди,
а ты нам денег дать не забуди!

– Ты, Ванюша, изображаешь гадкого мужика, – терпеливо пояснял Филофей. – Он деньги блудного сына проедает и пропивает и злорадуется этому. Злорадование – оно, к сокрушению нашему, как честная радость выглядит. Голос звонкий, руки во все стороны летают, тело лёгкое, что ни скажет – всё смеётся. Вот так изображай.

– Эх, заворачивает! – всерьёз удивился Гагарин.

Матвей Петрович сразу увидел в Филофее не только образованность книжника и красноречие иерарха, но и природный ум опытного человека, сполна умудрённого и горестями, и разочарованиями.

Так оно и случилось у митрополита Филофея. Однако же начиналось у него в Сибири всё прекрасно. Сибирь два года маялась без архиерея, пока киевский митрополит по приказу госу-

даря искал для тобольской кафедры мужа учёного, деловитого и крепкого телом. Его выбор пал на Филофея – архимандрита Свенского монастыря в Брянске и эконома Киево-Печерской лавры. Пётр вызвал указанного монаха во дворец в село Преображенское и поговорил с ним – как всегда, быстро и с напором, будто на врага напал. И отец Филофей царю понравился. Даже не просто понравился, а внушил уважение, укрепил надежду. Потом Пётр явился в Успенский собор и придирчиво наблюдал, как над гробами московских святителей Филофея посвящают в митрополиты Тобольские и Сибирские. Это было в 1702 году.

В Тобольск с собой Филофей повёз учёных киевских монахов, верных товарищей – архимандритов Мартиниана и Варлаама, книги, иконы и деньги. Филофею тогда уже перевалило за полвека, но, воодушевлённый, как юноша, он был преисполнен рвения. А в Сибири застал полное нестроение. Всё вкривь и вкось. Кругом язычники, раскольники и махометане. Храмов мало, нищие попы крестьянствуют и торгуют, службы ведут во хмелю и абы как – уже ни шиша не помнят ни чинов, ни канонов. Обители полупустые, монахи побираются по слободам, а самые неистовые заводят на посадах баб.

Филофей кинулся в труды с уверенностью, что всё ему по силам, и здесь, в Сибири, только его и не хватало. И почти сразу поссорился с воеводой князем Черкасским. Князь недавно открыл школу: вытащил из томской ссылки распопа Григорья Дровнина с премудрым братом Васильем и поставил в Тобольске учить детишек грамматике, арифметике и геометрии. Латынью воевода велел отроков не утруждать – всё равно в Сибири на латыни говорить не с кем. А брательники Дровнины оказались в Томске не за краденые пироги: злокозненный Васька в былые времена в Москве колдовал, пытался навести порчу на царей Петра и Иоанна и обещал выдать замуж «медвежью бабу» – мужиковатую царевну Софью. Жениху царевны Пётр отрубил башку, а брательников-еретиков сослали навечно. И таким учителям в православной школе было не место. На Софийском дворе в Тобольске Филофей основал собственную школу, забрал себе школу воеводы и прогнал взашей сатанаилов Дровниных. Князь Михаил Яковлевич обиделся.

Владыка требовал от воеводы ловить и сжигать раскольников – воевода уклонялся. Владыка требовал от воеводы сломать в Тобольске мечеть возле Гостиного двора – воевода приказал бухарцу Касыму перенести вертеп в Бухарскую слободу. Владыка требовал от воеводы снарядить гишпедицию на Обь, чтобы крестить инородцев, – воевода дал дырявую посудину с драным парусом, и берёзовские остяки только посмеялись над попами-нищобродами.

Заслужить уважение тоболяков у Филофея тоже не вышло. Филофей завёл на Софийском дворе духовный театр, сам написал пьесу, школяры разучили слова. Однако на первом же представлении вдруг рванул ветер и с треском сломил крест на храме святой Софии. Дурное предзнаменование.

От сомнений горожан и притеснений воеводы Филофей перебрался из Тобольска в Тюмень, с Софийского двора – в Преображенский монастырь.

Филофей жаждал призвать к правилу свой недостойный клир и написал свод уставных статей о том, как следует жить и служить попам и монахам. Брагу пить нельзя, в грязной рясе ходить нельзя, нельзя болтать о том, что услышал на исповеди. Статьи владыка огласил на всесибирском церковном соборе. Этот собор он провёл в Енисейске – не погнушался дальней дорогой. Филофей хотел, чтобы такие соборы стали в Сибири ежегодными, но тут уже сам государь наложил на съезды запрет: ретивый тобольский митрополит покусился на то, что дозволено было только Монастырскому приказу.

Не удалось и миссионерство. Архимандрита Мартиниана Филофей послал на Камчатку, однако за годы трудов Мартиниан сумел построить лишь жалкую часовню без престола. Архимандрита Варлаама Филофей сделал иркутским викарием, но малодушный Варлаам вскоре тихо сбежал из Иркутска: прошмыгнул мимо Тобольска и спрятался в Москве, на укору отве-

чал слезами и отказывался возвращаться в страшную Сибирь. Миссия в Монголию к ламе Джебузяну тоже вернулась ни с чем.

Филофей надорвал душу в попытках что-то изменить. Неподъёмная и неповоротливая Сибирь оказалась глуха к его дерзаниям. Здесь вечно будут шуметь яркие кедрачи, а люди вечно будут жить по законам тайги, постепенно превращаясь в деревья. Филофей простыл, заболел и уже никак не мог оправиться. Сгорая, он написал прошение о сложении сана. Такого в России не бывало, из митрополитов уходили только в мир иной. Но граф Мусин-Пушкин, глава Монастырского приказа, всё же согласился отпустить владыку. Филофей понял: он умирает. Он принял великую схиму и последнее земное имя – Феодор. Он удалился в затвор – в убогую келью размером не больше бани. Эту келью ему соорудили в углу монастырского двора.

Да, он умирал. Он лежал в келье на досках топчана совсем один и в жару простуды ждал конца. И вдруг понял, что нестерпимо жалеет уходить из этого мира. Ну и пусть он проиграл. Ну и пусть ничего не получилось. По телу катились волны огня, ломило плечи, спину и колени, он бредил, в уме извивались и плавились какие-то страстные речи, его кувырало, он куда-то летел, он рассыпался по миру горохом, расползлся тестом под чьими-то властными ладонями, терял себя, обретал себя, пил хмельное вино, блуждал в огромных и дремучих видениях, стучал в барабан, хохотал и плакал, проталкивался в толпе, метался, обнимал жену, которая давным-давно умерла, горел в печи, целовал у Богородицы её тёплые руки и противился, противился смерти, как столько лет противился жизни.

Он сопротивлялся обыденной греховной жизни, боролся с ней, ломал об колено, но ведь жизнь во всей её смуте и есть Благая Весть. Только земная жизнь, вверенная душе, даёт обещание грядущей вечной жизни. Не чин и не власть, не подвиги и не победы, а эта неустроенная и неправильная жизнь. А он не принимал её. Не слышал гласа Гавриила. И сейчас не хотел умирать, будто был простым тёмным смердом, который в смерти видит конец всему. Боже, пусть снова захлопают над кровлей его кельи крыла Гавриила...

Он очнулся рано утром – по-прежнему один, в насквозь мокрой одежде, измученный, опустошённый, но живой. Бог оставил его на земле.

И вот сейчас, два года спустя, он сидел на том же лежаке и читал письмо царя Петра Алексеевича. Государь кланялся и просил, чтобы он, схимонах Феодор, занялся крещением инородцев. Инородцев в губернии – десятки тысяч. Нужен креститель. Но крещение – это бездна хлопот, это надо плыть по рекам за сотни вёрст. По силам ли такое старику? Впрочем, он может отказаться, схимнику царь – только царь небесный. Но ведь эта просьба Петра Алексеевича – та самая жизнь, которую ему подарили дважды...

Матвею Петровичу в убогой келье Филофея негде было и присесть, поэтому мальчик-послушник принёс ему из покоев игумена стул. Матвей Петрович смотрел на задумавшегося Филофея.

– Знаешь, чего государь от меня хочет? – спросил Филофей.

– Знаю, – кивнул Матвей Петрович. – Он мне на словах сказал.

Государь-то сказал, но Матвей Петрович всё равно осторожно вскрыл письмо и прочитал, а потом запечатал обратно, как было. Не мог же он не выяснить, о чём царь пишет в его губернию.

– Мне шисят один год, – сказал Филофей. – Какой из меня креститель?

– Ты начни, и дело пойдёт. А я тебе всю помощь окажу: денег дам, подарки, охрану, дощаники.

– Помру ведь я где-нибудь в дороге, – виновато вздохнул Филофей.

– Все где-нибудь в дороге помрём.

Матвей Петрович смотрел на колебания старика с любопытством. Было в них честное человеческое сомнение, а не раболепие, как обычно при дворе. Все знали гневное нетерпение

государя в делах и ревнивую мстительность; если кто и отказывал царю, то на коленях, и ноги целовал, моля о пощаде.

А Филофей помнил, как неохотно соглашался на крещение инородцев воевода Черкасский. Для воеводы крещение – лишний пустой расход.

– Тебе-то сие зачем, Матвей Петрович? – Филофей посмотрел князю в глаза. – Тебе-то какая выгода на инородцев тратиться?

– Никакой, – охотно согласился Матвей Петрович. – Одни убытки. Но ведь до`лжно так – крестить нехристей.

В необходимости крещения Матвей Петрович был уверен, иначе в управлении не будет порядка. Он по опыту знал, как негодуют русские люди, когда диким инородцам дозволяется больше, чем своим мужикам. Почему у инородцев тягло полегче? Почему их в рекруты не берут? Почему воевода не судит их, как своих? В Сибири крещение уравнивало инородцев с русскими поселенцами. Поначалу оно и вправду было в убыток, но потом – в прибыль.

– На твоём воеводском месте твоя забота – не крестить, а воровать, – проницательно заметил Филофей.

– А твоя поповская забота – блудить, – тотчас ответил Гагарин.

– Так я старый, – засмеялся Филофей.

– А я богатый, – тоже засмеялся Матвей Петрович.

Оба они поняли, что нравятся друг другу.

– Ладно, Матвей Петрович, я подумаю, – тяжело вздохнул Филофей. – У бога совета спрошу. У меня в Тюмени дел – на полжизни, – он покачал головой, думая о монастыре, который уже врос в сердце. – Но привязанность к дому губит великие дела.

Глава 7

Карета азиата

Слава богу, ветер был попутный. «Хороший знак», – думал Матвей Петрович. Вот она, Сибирь. Настоящая. Главная награда в государстве. Конечно, тот же Алексашка Меншиков берёт больше и гремит громче, но он висит и пляшет на волоске царской милости. А Сибирь лежит себе тихо-мирно, есть-пить не просит, но бегут отсюда, бегут золотые ручьи.

Устье Тобола раскрывалось на Иртыш, как ворота, и густой, тесный запах хвои раздвинула свежесть речного простора. Иртыш зернисто сверкал под солнцем, и князь увидел вдали, на противоположном берегу, Тобольск.

Иртыш здесь изгибался огромной неспешной излучиной, и горло её было перехвачено ровной грядой Алафейских гор – могучей ступенью с плоского низкого dna пойменной долины на общую ровную высоту земли. Эту длинную стену татары называли «Алафага» – Корона. Вон справа – остроугольный Чувашский мыс, вернее, Почеваш, – верхний по течению Иртыша конец Алафейской гряды. Под ним зеленеет Княжий луг, на котором дружина Ермака билась с войском хана Кучума. А слева – Троицкий мыс, нижний по течению Иртыша, и он сверху и снизу занят Тобольском.

Матвей Петрович не раз бывал в Тобольске и знал, что изнутри, с улиц, город кажется очень большим. А отсюда, с Иртыша, было видно, какой он маленький. Дробная россыпь деревянных крыш под кручей мыса, проколота шильями шатровых колоколен, а на мысу, рассеянном щелью Прямого взвоза, – Воеводский двор и Софийский двор. Гляди-ка, Софийский двор теперь стал каменным! Ну ведь и вправду кремль!.. Пояс кирпичных стен с зубчиками и толстые башни, круглые и квадратные, и за ними – туша Софийского собора, увенчанная пятиглавием, собранным в крепкое соцветие. Верхний город казался стоящим на спине сказочного кита.

– Это и есть город Тобольск, ваше сиятельство? – спросил Ефим Дитмер. – Столица Сибири?

– Тобольск, – кивнул Матвей Петрович. – Столица.

Матвей Петрович сидел посреди дощаника в резном ковровом кресле. Дитмер стоял рядом и рассматривал город в медную подзорную трубу. Над головами Гагарина и Дитмера ветер раздувал белый холщовый парус с двуглавым орлом, орёл словно встряхивал распростёртыми крыльями.

Губернаторская флотилия медленно пересекала Иртыш. Суда волочили за собой по волнам цветные ленты, паруса хлопали на порывах ветра, гребцы налегали на вёсла. Офицеры и чиновники вглядывались в приближающийся город. Полубарок с роскошной каретой князя тянула лодка-набойница, нанятая в попутной слободе. Вокруг флотилии сновали крестьянские насады и шитики, татарские каюки и лёгкие обласы инородцев, очертаниями схожие с луками, – судно губернатора сопровождали зеваки из окрестных деревень. На середине Иртыша они вдруг спохватились, бросили флотилию и шустро понеслись к берегу, чтобы смотреть на прибытие губернатора вместе с толпой. Каждому не терпелось поделиться своими впечатлениями о новом хозяине Сибири: какой у него парик с кудрями, какая шляпа, какой камзол.

Берег Иртыша в Тобольске был как попало загромождён строениями пристаней и привычно завален хламом. Длинные дощатые причалы на сваях, перекосившиеся бревенчатые ряжи, амбары на столбах – на время половодья, плотбища с недоделанными барками, груды брёвен, старые ветхие струги с дырами в днищах, раздавленные бочки, сломанные тележные колёса, лодки, затоптанные вымостки, лужи грязи. На воде у берега теснились, вздёрнув тон-

кие мачты, зачаленные дощаники, тихо колыхались тяжёлые плоты, мелкие волны толкались в борта затонувших и брошенных судов.

В городе звонили колокола, а на берегу гомонила толпа. Тоболяки, щурясь, смотрели на белые паруса губернаторской флотилии, посмеивались, лузгали кедровые орешки и ожидали зрелища. Под ногами у людей шныряли собаки. Распихивая народ, с лотками на груди сновали и весело покрикивали продавцы пирожков. Какой-то пьяный мужик, мыча, порывался плясать. Под шумок парень прижимался к девке и тискал ей зад. Вор осторожно срезал кошелёк с пояса посадского ротозея. Мальчишки за амбаром сражались на палках и вопили друг на друга. Лошади равнодушно щипали бурьян.

Два монаха бок о бок сидели на перевёрнутой лодке.

– Слух бежит, что Гагарин княже щедрый, – негромко говорил один. – В Верхотурье вклад дал в Никольский монастырь – на образ ризу в полпуда серебра. Авось и нам перепадёт.

– Хоть бы игумен попросил крышу на кельях перекрыть, – вздохнул второй монах. – Ещё одна хвороба – и меня на погост снесут.

На самом чистом месте берега, где грязь наскоро перекрыли свежим дощатым настилом, переминались дьяки, подьячие и писари Приказной палаты. Среди них стояли обер-комендант Карп Изотович Бибииков и два полковника – Васька Чередов и Афанасий Матигоров. Бибииков, робкий душою, страшно волновался, вытирал лоб большим цветастым платком, то снимал, то надевал шляпу, махал на себя ладонями, обдувая.

– На котором корабле-то губернатор? – тревожно спрашивал он.

– Да вон на том, где орёл, – снисходительно пояснил полковник Васька Чередов. – Как на свадьбу едет, жених. С лентами. А мы ему приданое.

Чередов командовал тобольским полком служилых людей, то есть был главным военачальником Сибири. А Матигоров командовал беломестными казаками, которые жили по острогам, и поэтому был воеводой без войска.

– Силён царский орёл, – добавил Чередов. – Такого борова нам принёс.

– Молчи, Васька! – перепугался Бибииков. – Афоня молчит, и ты молчи!

Рядом с приказными стояли три небольших чугунных пушки на колёсах. Усатые канониры с длинными запальниками в руках со скуки курили общую трубку, по очереди передавая её друг другу. Дымилось ведро с углями.

– Когда стрелять, господин комендант? – спросил один канонир.

– Да скажу, скажу! – страдальчески сморщился Бибииков. – За какие же грехи мне испытанье такое? Господи, помилуй!

Неподалёку от дьяков и пушек губернатора ожидали пленные шведы – почти все рослые, белобрысые, в потрёпанных париках, посыпанных мукой, и в непривычных русскому глазу камзолах. Один из шведов – краснолицый и такой белёсый, что казался безбровым, – держал перед собой большую икону, закрытую вышитым покрывалом из тонкой ткани. Шведы вырядились как на парад, нацепили шпаги и петушиные перья на треуголки.

– Почто им перья, батя? – спрашивал отца какой-то русский парняга.

– Дурь заморская, – уверенно пояснял батя. – Они своему королю дорогу шапками подметают. Не метлу же на шапку присобачивать.

Главным у шведов был ольдерман капитан Курт Фридрих фон Врех – маленький и пузатый, в большой треуголке с кантом и в парике с косичкой. С важностью в лице и жестах он приподнял покрывало на иконе.

– Очень тяжёлая, господин фон Врех, – пожаловался краснолицый швед.

Икона была вырезана из мамонтовой кости. Святой Матфей-евангелист, склонившись, писал пером в раскрытой книге.

– Потерпите, Георг, – вежливо попросил фон Врех.

– Вы хороший художник, ротмистр Малин, – похвалил капитан Табберт. Он тоже явился встречать губернатора.

– Я лишь копиист и резчик по кости, – возразил краснолицый швед. – Изображение я срисовал с русской деревянной иконы.

– Весьма остроумный подарок губернатору, Курт, – Табберт улыбнулся фон Вреху. – Как известно, святой Матфей был мытарем. Деятельность, весьма родственная задачам русского губернаторства.

– Я имел в виду небесное покровительство по имени, мой милый Табберт, – с достоинством, но ласково ответил фон Врех. – Однако ваше умение искать связи и видеть символы меня неизменно восхищает.

Штык-юнкер Юхан Ренат осторожно подошёл к русским артиллеристам.

– Ядро шесть фунт? – по-русски спросил он, рассматривая пушку.

– Холостыми палим, – ответил пожилой артиллерист. – Праздник же.

– А мерка порох?

– На холостой – полторы кружки. А ты тоже канонир?

– Так, да, – кивнул Ренат. – Батарея командовать. Четыре экипаж. Сколько есть много выстрел до холодить ствол?

– Сами не пробовали, но охвицер сказал, что сорок раз, не больше, потом остужать надо, не то порох в стволе рвануть может. Говорят, если поливать, так и шисят выстрелов держит. А у тебя сколько было?

– Так, да. Нагрев уменьшать калибр. Когда... э-э... корка калить есть... внутри ствол... корка – чугун гореть... ядро середина ствол садить, – помогая себе объясниться, Ренат руками показывал, как пушечное ядро застревает в раскалённом стволе с окалиной. – Нельзя, взрыв.

– Хорошо мы вас под Полтавой нажарили? – влез в разговор молодой артиллерист, весело скалясь на Рената.

– Закрой хайло, Васька, – раздражённо ответил пожилой канонир.

В отличие от капитана Филиппа Табберта, которому в России всё было любопытно, штык-юнкер Ренат в плену тосковал. Разговор о пушках возвращал его в те времена, когда он был нужен, когда занимался делом, когда надеялся на повышение по службе, на щедрую награду от короля, на то, что после войны у него появится хороший дом, жена и дети.

Среди шведов были и солдат Михаэль Цимс с женой Бригиттой. Цимс недовольно грыз чубук пустой трубки. Устав от ожидания, он подёргал за рукав капитана Отто Стакелберга, помощника ольдермана.

– Господин капитан, а водкой поить будут? – спросил он.

– Я не знаю, господин Цимс, – неприязненно ответил Стакелберг.

Красивая, но хмурая Бригитта оделась по-шведски – в длинное платье с передником, голову покрыла чепцом. Она тихо смотрела на маленькую русскую девочку, отбившуюся от матери. Девочка изумлённо тарасилась на тётю в странной шапке и сосала палец. Бригитта вынула из-под фартучка баранку и протянула девочке. Девочка подошла, доверчиво взяла баранку и сунула в рот. Мать увидела это, ринулась к дочери, отняла баранку и бросила на землю, сердито схватила девочку за руку и потащила прочь. Но лицо у Бригитты не дрогнуло. Она привыкла, что в этом мире она для всех чужая.

Через шумную толпу к пристани решительно шагал костлявый сутулый старик с грубым лицом. Его седая клочкастая борода непокорно торчала вперёд, косматые брови разлетелись, как крылья ворона. Люди здоровались со стариком, и он кланялся и кивал налево и направо, но если кто-то, не видя, загораживал ему путь, то бесцеремонно тыкал в спину острым кулаком.

– Я вот тебя тоже тыкну, Ульяныч! – почёсывая хребет, с досадой сказал один мужик, уступая дорогу.

– Тыкни, тыкни. На обе руки левой сделаю.

– Старый, а задира, – осуждающе сказала какая-то баба.

– Задира – кто подол задирает, – тотчас ответил старик.

Это был Семён Ульянович Ремезов, изограф и главный тобольский архитектор при прежнем воеводе князе Черкасском. За Ремезовым шли сыновья – Леонтий и Семён, давно уже матёрые мужики, и отрок Петька.

– Не сердчай на батю, тетя Марусь, – миролюбиво сказал обиженной бабе Леонтий, старший сын.

– Здорово, Карп, – кивнул обер-коменданту Ремезов.

– Ох, молись за меня, Семён Ульяныч, – сразу попросил Бибииков и указал на Иртыш. –

Вон смерть моя плывёт...

– Да нужен ты ей шас, неподмытый-то, – буркнул Ремезов.

Флотилия губернатора была уже совсем близко к берегу. Работники на вымостках махали руками, показывая, куда кому причаливать. С дощаников доносились команды. Гребцы убрали вёсла. На пристань полетели снасти, работники хватали их и подтягивали суда.

– Господи, пронеси! – Бибииков перекрестился и тоненько крикнул канонирам. – Палите, братцы!

Над Иртышом, над судами и над толпой грянул увесистый залп.

Большие суда с глухим стуком ударялись носами в брусья причала.

Работники потащили сходни к дощанику с двуглавым орлом на парусе. Толпа загалдела, увидев губернатора. Дальнзоркий Ремезов презрительно морщился: разве же это хозяин Сибири? Вырядился, как немецкая баба: овечьи кудри, грудь в кружевах, камзол с оттопыренным задом, на рукаве бант, короткие порты с пуговицами, чулки, – тьфу, мерзопакость. Толпа вопила и свистела. Пушки ударили ещё раз. Монахи подняли хоругви и пели.

– Экое ю-ю, – сказал Ремезов. – Супротив Черкасского-то негораздыш.

Князь Михаил Яковлевич Черкасский воеводил двенадцать лет – дольше всех прочих тобольских воевод. Он был настоящий московский боярин: добродушный от сытости и хлебосольный от скуки. Не воровал, как другие, а брал ясной мерой, у всех по справедливости. Неторопливый во всём, он успел очень много: при нём Семён Ульяныч соорудил вокруг города новую бревенчатую стену с башнями, построил кирпичную Приказную палату и кирпичный Гостиный двор. Черкасский устроил в городе ружейный завод и завёл на Воеводском дворе школу. К Ремезову князь снисходительно благоволил: в церкви ставил рядом с собой, в доме сажал за стол по левую руку; когда Ремезов ездил в Москву учиться зодчеству и чертить чертежи в Сибирском приказе, Михаил Яковлевич дозволил ему с сыновьями жить в своих хоромах. Хотя, конечно, была в Черкасском родовая спесь: всегда неколебимо уверенный в себе, он никого не слушал; если кто шёл против его мнения, князь без трепета выбрасывал строптивца вон. Так и Семён Ульяныч три года просидел без жалованья и без работы – сыновья кормили. Но Ремезов простил Черкасскому ту опалу, потому что за ней последовала главная отрада – возможность построить Гостиный двор. Словом, к воеводе Черкасскому все притёрлись и притерпелись, а этого внезапного Гагарина никто не знал, однако он вдруг оказался в Сибири самым главным. От досады и от ревности к чужаку Ремезов был настроен на разочарование в Гагарине.

А князь Гагарин с борта дощаника смотрел на шумную толпу тоболяков вокруг пристани: служилые, промышленные, торговцы, ямщики, бондари, сапожники, оружейники, плотники, печники, монахи, мошенники, нищие, добрые, злые, умные, глупые, богатые, бедные, пьяницы, молитвенники, бабы ихние, дети, старики, старухи, татары, инородцы, раскольники, пленные шведы, ссыльные хохлы, бухарцы, калмыки... Народ. И этот народ глядел на князя тысячами глаз, глядел без злобы, но с ехидцей: ну-ка, позабавь каким-нибудь дивом, губернатор, поклонись, чтобы и тебе поклонились.

Ходжа Касым со своими приказчиками и с шейхом Аваз-Баки стоял на высоком гульбище, опоясывающем амбар, и хорошо видел Гагарина.

– Вот новый Сибирский хан, – насмешливо сказал Касым шейху по-чагатайски. – Посмотрим, насколько глубоки его карманы.

Солдаты, которых привёз с собой Гагарин, ссыпались с дощаников на пристань и принялись распихивать толпу.

– Не напирай! Дай место! Дядя, осади!

Гагарин, соблюдая важность, спустился по сходням. За губернатором шёл секретарь Ефим Дитмер. Гагарин повернулся к монахам с хоругвями, снял шляпу и склонил голову под благословение батюшки, свесив букли парика, а потом поцеловал протянутую дьячком икону в окладе. Дитмер сразу без слов положил в руку батюшки заготовленный толстый кошелек.

– Хра... храни господь, – растерялся батюшка.

Гагарин всем телом поворотился от монахов к приказным. Полковник Чередов плечом с наглостью оттеснил Бибикова и Матигорова и вылез вперёд.

– Василий Чередов, – выпячивая грудь, сказал он. – Полковник я, господин губернатор. Командую служилыми людьми тобольского разряда!

– Молодец, – сдержанно ответил Гагарин.

– Бибиков Карп Изотыч я... – лепетал Бибиков. – Обер-комендант сего града буду... – Бибиков суетливо поймал протянутую для поцелуя руку и приложился губами. – Премного в радости... Всегда... Чем могу...

– Не робей, Изотыч, – Гагарин похлопал Бибикова по плечу. – Слюбимся. Поди лучше чарку прими.

Матигоров не стал показываться губернатору. И хвастать нечем, да и не запомнят его в суете. К Гагарину, семена, уже кучей подступали купцы и толкали друг друга. За спиной Гагарина к Дитмеру подошёл фон Врех.

– Вы – господин Йохим Дитмер, секретарь губернатора? – фон Врех говорил по-шведски. – Мне писал о вас барон Цедергельм.

– Да, это я, – сдержанно улыбаясь, по-шведски ответил Дитмер. – Добрый день, господин фон Врех. Я ведь не ошибся?

– Не знаю, достойно ли радоваться вашему появлению в Сибири, но мы рады, – галантно сказал фон Врех.

– Благодарю, господин ольдерман.

Ремезов в это время смотрел, как с полубарка по сходням работники скатывают карету Гагарина. Таких карет Тобольск ещё не видывал.

– Ох, резьба какая хитрая... – восхитился Семён Ремезов.

– Глянь, батя, передняя ось на втулку посажена, и оглобли на ось надеты, – Леонтий даже присел, чтобы рассмотреть. – Это, небось, чтоб в крутой заулочок поворачивать, да?

– А кузов к раме на ремнях привешен, – заметил и сам Семён Ульяныч.

Спуском кареты руководил лакей Капитон.

– За колесом следи! – ругался он. – Левее, дьяволы!

Петьке, младшему сыну Ремезова, карета была неинтересна.

– Батя, отпусти до Морозовых, а? – спросил он.

– Не верти дыру, Петька! – не глядя на сына, рыкнул Ремезов. – Стой с братьями! Ещё раз увижу тебя с Дашкой Морозовой – ей-богу, утоплю!

Князь Гагарин уже принял поклоны от купцов, и Дитмер ненавязчиво подвёл к губернатору Курта фон Вреха.

– Господин губернатор, ольдерман здешней общины шведов...

– Ольдер... кто?

– Ольдерман. Командир, – пояснил Дитмер. – Организует жизнь всех королевских пленных в Тобольске.

– Староста, значит? – понял уже уставший Гагарин. – Ну, ясно. Дай, Ефим, ему кошель, который припасли для шведов.

Дитмер, улыбаясь, взял фон Вреха за манжету камзола и вложил ему в ладонь кожаный кошель. Гагарин протянул фон Вреху руку для поцелуя.

– Поцелуйте ему руку, – тихо, но внушительно сказал Дитмер по-шведски. – Так нужно, Курт.

Фон Врех запыхтел, покраснел и неловко клюнул губами в запястье Гагарина. Табберт и шведские офицеры наблюдали за ольдерманом с усмешками неловкости. Табберт задумчиво заметил штык-юнкеру Ренату:

– Вот мы и становимся азиатами, господин юнкер.

К губернатору уже со всех сторон подступали люди – каждый со своим делом. Надо было вырываться. Раздвигая толпу, солдаты вручную подкатили карету. Лакей Капитон посадил Гагарина и захлопнул за ним дверку, Дитмер успел вскочить в карету с другой стороны. Толпа сомкнулась вокруг кареты, как воды вокруг острова. Красивый резной и расписной экипаж выглядел игрушкой, и толпе не хотелось ломать его, чтобы достать седоков, но ведь надо было что-то сделать, чтобы ощутить губернатора вживую.

Гагарин и Дитмер услышали взволнованные крики, перебранку, и потом почувствовали, что толпа вдруг могуче поднимает карету в воздух и куда-то несёт. Тоболяки возбуждённо гомонили, кто-то смеялся, кто-то ободряюще пошлёпал ладонью по дверке. Народ тащил карету с губернатором на себе. Гагарин и Дитмер хватались за что попало и падали друг на друга.

– Держи крепче! – кричали снаружи. – Тяжела, холера крашенная!

Изящная и хрупкая на вид карета поплыла над толпой, как парусник. Её волокли по улицам вровень с кровлями на воротах и окошками горниц, по мостикам над речушками, через площади с посадскими церквями. Толпа гудела, воодушевлённая своим подвигом: мгновенное раболепие первого порыва сменилось пугающим разудалым молодечеством. Собаки, ошалев, бежали за толпой и лаяли, мальчишки вопили, бабы крестились. Даже мелкие облака в ярком летнем небе словно взбрыкнули, встопорщив дыбом сияющие гривы. Обер-комендант Бибииков трусил за каретой и подвывал:

– Опустите! Опустите! Уроните же, ироды!

Всё ближе были зелёные откосы Троицкого мыса, стеной встающего над крышами Нижнего посада. Поверху на мысу виднелись бревенчатые терема Воеводского двора и белый кремль Софийского двора – каменные башни и стены. Взлетающий подъём Прямского взвоза был вызовом народу: не по силам людям втащить карету на такую высоту по такой крутизне! Но толпа только весело разъярилась. Всё новые и новые мужики пробивались к карете, чтобы тоже подставить плечо под крепкую раму колымаги.

С наглым рычаньем толпа взбурлила и поперла вверх по узкому ущелью взвоза, вознося на себе карету. Мужиков уже не волновало, что Гагарина и Дитмера в карете валяет с боку на бок, как по лодке в бурю. Мужики хрипели от натуги и ругались матом, рубахи трещали на спинах, надувались жилы на загорелых шеях, ноги втапывали в суглинок склона сбитые шапки. Толпа превратилась в слитную очеловеченную силу, которая ломала тягу земную. В ожесточении упрямства тоболяки поднимали княжескую карету всё выше и выше. Со склона кругами раскрывались непостижимые дали: деревянное ломаное озеро городских крыш, цветущие заливные луга, плоская и блестящая от солнца излучина Иртыша, мреющие заречные просторы, стрела улетающего за окоём Тобола, вогнутое синее сияние небес. В их глубине, почти непроницаемой для взгляда, за ветровыми промельками ангельских крыльев мерещился

и таял огромный иконный лик Вседержителя, знающего грозную цену человеческого дерзания: кто может поднять на такую высоту, тот может с неё и сбросить.

Глава 8

Архитектон

Терем для воеводы Черкасского Семён Ульянович Ремезов построил лет десять назад.

Михал-Яковлич тогда сказал: хочу в Тобольске себе палаты, как дворец у царя Алексея Михалыча. Когда Ремезовы были в Москве по вызову Андрей-Андреича Виниуса, главы Сибирского приказа, Семён Ульянович съездил в Коломенское. Царское великолепие вызвало у него восхищение пополам с яростной ненавистью. А чем он хуже тех зодчих? Чай, не дурак, не на лыжах по лужам, всё понимает, как сделано. Однако сколько свободы, сколько прихотливой игры, выдумки, лёгкости, озорства! В Коломенском Ремезов шагами измерил объёмы дворца, сосчитал количество венцов в срубах, на глазок прикинул высоты, зарисовал и записал, что надо было. И потом в Тобольске построил терем для Черкасского в том же образе.

Терем встал на Троицком мысу, на самом ветровом острие Алафейских гор, на крутояре – впору только Сивке-Бурке допрыгнуть. Не терем даже, а сказочный город Леденец. Средоточие – обширная горница-трапезная для приёмов с крытым всячим гульбищем и крыльцом, что выкатило во двор широкий сход на мощных опорах-косоурах. Барские покои с щипцовой крышей, отдельный рундук и сверху – точёный петух. Вознесённая рабочая светлица с кубоватым верхом. Обочь – восьмерик, выложенный костром, а над ним – шатёр с двуперстной ветреницей. В ряд на подклетах – службы, увенчанные лемеховыми бочками. Вразлёт кровли на потоках, всё в сквозной резьбе, весело растопырены причелины, кипун на зубчатых подзорах и ярило на крашенных наличниках! Семён Ульянович гордился своим чудо-теремом и однажды даже подрался с дьяком Баутиным, который не смог найти в тереме воеводу, опоздал куда-то и орал, что в хоромах чёрт ногу сломит.

Губернатор Гагарин, стоя посреди воеводского двора, разглядывал терем Черкасского, а теперь – его собственный терем, и морщился от солнца. Июльский полдень сиял на вздёрнутых коньках крыш и на фигурных трубах-дымниках. За спиной губернатора толпились прихвостни: дьяки, слуги, лакей Капитон, секретарь Дитмер, обер-комендант Карп Бибилов, полковник Васька Чередов, Свантей Инборг – артельный шведской строительной артели. Ремезов, нахмутив брови, ожидал восхищенья губернатора.

– Худой терем, – вздохнув, наконец сказал Гагарин.

– Да понимал бы ты чего, боярин! – оскорбился Ремезов. – Не сундук – значит, не красота?!

– Тихо, тихо ты, Ульяныч, не дерзи! – испугался Бибилов.

– Не сердись, архитектон, – миролюбиво сказал Гагарин. – Небось, под коломенский дворец строил?

– Под него! А чем он плох?

– Дворец-то ничем не плох, да времена миновали. Нас всех ныне, вишь, на немцев вывернуло да на голландцев.

– Немецкие хоромы хлипкие! Палками подпёрты!

– А ты их видел?

– Видел! – с вызовом заявил Семён Ульянович.

Он ходил в Немецкую слободу, когда жил в Москве, и удивлялся немецким домам-фахверкам с брусьями сикось-накось, и даже зарисовывал их, но вот на дворцы особого внимания не обратил, да и осмотреть их не смог бы – кто ж его пустит во дворец? Он же простой человек.

Гагарин только вздохнул и оглянулся на Дитмера.

– Ефимка, ты ведь у графа Пипера в Немецкой слободе служил?

– Да, господин губернатор.

– Тогда понимаешь меня. Переведи этому шведу, – Гагарин кивнул на артельного Свантея, – что я хочу себе дом как у Петра Иваныча Гордона. Сумеет его артель построить такой?

– Лейтенант Инборг, – по-шведски сказал Дитмер, – губернатор желает, чтобы вы построили ему дворец как в Стокгольме на Сёдермальме у барона Юлленкрейца. Ваша артель сумеет исполнить этот заказ?

Кряжистый, скупой в движениях Сванте Инборг, всегда раздумчивый и осторожный, медленно вынул трубку из-под пушистых белых усов.

– Я думаю, мы справимся, господин секретарь, – ответил он.

– Он сможет, – сказал Дитмер по-русски. – У лейтенанта Инборга самая большая шведская артель в городе.

– Не добились гадов под Полтавой! – полковник Чередов сплюнул в траву со свирепостью служак, который никогда не воевал по-настоящему.

– На входе хочу колонны, крышу – вот таким коробочком, – Гагарин, глядя на Инборга, показал руками, – и окошки в полукруг поверху.

– Люкарны, – деликатно подсказал Дитмер.

– Пусть в доме поставят мне печи голландские с изразцами, сделают паркет, а не половицы, лепнину налепят, портьеры повесят, на стены – обои штофные с росписью... Зеркала и шандалы я с собой привёз.

Дитмер вполголоса быстро переводил Инборгу. Тот степенно кивал с понимающим видом.

– Заплачу щедро, пусть он не робеет. А ты, Ефимка, найди мне у шведов мастеров: каретник нужен, окошечник, садовник... Повар у меня свой.

Ремезов слушал и мрачнел всё больше.

– Почто нехристям такой подряд отдавать? – не выдержал он. – Я сам соберу артель, мои всё сделают не хуже! У нас не божедурье полоротое!

Гагарин искоса поглядел на Ремезова и усмехнулся.

– Не ревнуй, архитектон. Я людям хочу заработок дать. Они же на чужбине. Совесть-то вспомни.

– Ты шведские морды совести, не меня! – рявкнул Ремезов. – Они в нашу державу не с пирогами, а с пушками вторглись!

– Ладно-ладно, – Гагарин дружески приобнял Ремезова за худые твёрдые плечи. – У меня всем работы хватит, архитектон.

Матвею Петровичу по душе пришёлся этот строптивый старик. Такие упрямцы не воруют. А те, которые не воруют, всегда были нужны князю Гагарину для его обширных, разветвлённых и уклончивых дел.

– А мой терем куда денешь? – сразу спросил Ремезов.

– Снести его к псам до подошвы, – улыбаясь, просто ответил Гагарин.

– Ломать не строить! – вырываясь, гневно закричал Ремезов.

Бибиков в ужасе схватил себя за бороду на щеках.

– Тс-тс-тс, – как ребёнка, утихомиривал Гагарин Ремезова. – Ты мне чего-нибудь новое построишь. Я догадываюсь, что у тебя задумок на три Тобольска. Пройдёмся, архитектон, расскажешь.

Гагарин положил ладонь на спину Ремезова и легонько подтолкнул. Ремезов неуверенно шагнул вперёд, его корёжило от возмущения. Свита качнулась вслед губернатору и архитектону.

– Отстаньте все! – оглянувшись, приказал Гагарин.

Оставив за спиной терем Черкасского, они шли по Воеводскому двору, как попало застроенному после пожара десятилетней давности. Бревенчатые лабазы, почерневшие кузни, угол заплота драгунского подворья, конюшни, изба пехотского приказа, пушечный амбар, вет-

хая Воскресенская церковка с покосившейся главкой. Крылечки, поленницы, крытые ворота, брошенные бочки, телеги, хлам. Земля была вытоптана вечно снующим людом, лишь под стенами росла дикая трава. За гребнями крыш торчали шатры крепостных башен с крестами. Всюду был народ: служилые выводили лошадей, мужики ждали решений суда, дьяки бегали по делам, поп шёл причащать колодников в тюрьме, баба искала козу. При виде губернатора все снимали шапки и кланялись, но никто не решался отвлечь боярина от беседы с архитектором.

– Ты построил? – спросил Гагарин, указывая на краснокирпичную тушу Приказной палаты, что наконец-то вылезла из-за караульни.

– Я! – гордо подтвердил Ремезов.

Образ этой палаты он тоже подсмотрел в Москве, в Крутицкой обители, да ещё в Сибирском приказе Виниус дал ему фряжскую книгу про каменное зодчество, и Семён Ульянович отгрохал что-то такое, чему и сам удивлялся. Вообще-то здание он сделал обычным для палат, его называли «брус», но в украшении расплясался, как скоморох. Над прочным подклетом он соорудил открытую «галдарею» с баясинами и колоннами – и не удержался, осадил фряжские колонны родными русскими «дыньками», хотя сверху присобачил снопы каменных цветов. Окошки сдвоил и строил, в простенки вмуровал изразцы и резные вставки из белого известняка и пустил под свесом крыши висячие арочки с «гирьками». Из крутого ската черепичной кровли в ряд, как закомары на храме, торчали чердаки-«слухи». А что? Радостно получилось!

– И откуда тебе в голову такое дикобразие закатилось? – задумчиво спросил Гагарин, разглядывая Приказную палату.

Мужики на «галдарее» кланялись князю.

– По фряжской книге! – сразу встопорщился Ремезов.

По правде сказать, от рисунков из фряжской книги в палате остались только бубенцы да каблуки. Семён Ульяныч дал себе волю, распоясался, но никому в том не признавался. Помнится, воевода Черкасский при виде этой палаты тоже поскрёб пятернёй голову и сказал: се не казённая палата, а балаган. Потешная масленичная драка петрушек в колпаках.

– Старый я, – вздохнул Гагарин. – А Софийский собор тоже ты делал?

– Софийский собор ещё до меня. Я тогда зелёный был.

Ровные белые стены и серебряные лемеховые купола собора спокойно вздымались за Прямым взвозом, огороженным бревенчатыми пряслами.

– Пойдём каяться, – позвал дальше Гагарин.

Они вышли к истоку Прямого взвоза. Вымощенная плахами дорога утекала вниз по ущелью между крутых травяных откосов к подгорной части Тобольска. Сверху были видны сотни деревянных крыш, колоколенки, а за ними – сверкающая полоса Иртыша и заречные просторы.

– Вот там, посреди взвоза, я хочу башню ярусную поставить со шпиром, чтобы шпир выше Приказной палаты поднимался, – твёрдо сказал Ремезов.

– Вроде Сухаревой башни в Москве?

– Нет, вроде Святых ворот Данилова монастыря, где церковь Симеона Столпника. Я сам – Симеон, – Ремезов со значением посмотрел на Гагарина. – Я столпы хочу возводить, как Нимврод Вавилонский.

– Какие столпы? – слегка ошалев, спросил Матвей Петрович.

– Смотри, – Ремезов протянул длинную руку и костлявым пальцем указал на правый обрыв Прямого взвоза. – Вон на том месте надо новую церковь построить, столпную. А на том краю площади, – Ремезов повернулся в противоположную сторону, – надо Спасскую башню в камень перевести.

Площадь перед Софийским и Гостиным дворами была ограничена стеной деревянного острога. Над площадью царил бревенчатая Спасская башня: проезжий четверик с раскатом и три восьмерика, один – часозвонный. Однако шатёр на башне чернел щелями отлетевших

досок, а под часовой машиной, привезённой ещё воеводой Годуновым из Смоленска, давно просел пол, и перекошенная машина сломалась. Но циферблат, по-старинному поделённый на семнадцать долей, ещё поблёскивал облезлой позолотой.

– Проникнись, Матвей Петрович, – Ремезов увлёкся, – площадь будет в окружении столпов! Красота! С дураков шапки повалятся!

Ремезов испытующе посмотрел в глаза Гагарину. На площади толпились тоболяки: галдели лотошники, в ворота Гостиного двора заезжал караван, водовоз вёз бочку, ссорились какие-то бабы, бегали мальчишки и собаки, деревенские мужики крестились на храм. Никто не видел в ярком синем небе призрачных столпов. Но Матвея Петровича поневоле увлекла одержимость Ремезова, этого дремучего сибирского демиурга.

– А почто Тобольску столпы?

– Тоболеск – стольный град Сибири! Надо Воеводский двор тоже кирпичными стенами и башнями обнести, как Софийский двор. Замкнуть всё оградой с зубцами, – Ремезов широко обвёл пространство обеими руками, – сцепить воедино – и будет тебе кремль! А ты, Матвей Петрович, посреди кремля на стуле сидеть будешь, как царь!

Построить кремль было заветной мечтой Семёна Ульяновича. Пусть и не такой большой кремль, как в Москве, но размером хотя бы с московский Донской монастырь. Или Новоспасский. Или Новодевичий. Ремезов хранил эту мечту глубоко в себе, словно память о первой, пылкой и нелепой любви. Он и не думал делиться с кем-то своей надеждой, а тут вдруг сорвалось само собой... А может, и не само. Никто ведь его никогда не спрашивал о таких делах. Воеводы не спрашивали. И митрополиты не спрашивали.

Кремль для Семёна Ульяныча был как сокровенная, но так и не спетая песня. Четверть века назад митрополит Павел, бывший архимандрит Чудова монастыря, задумал отстроить Софийский двор в камне и для этого вызвал зодчих из Москвы – надменного Фёдора Меркурича Чайку, пьяницу Кирюху Шадрина, Герасима Яковлича Шарыпина, косоглазого Гаврилу Тютиня. А тоболяка Семёнку Ремезова воевода Алексей Петрович Головин до дела не допустил – сибирянин не дворянин, рылом не вышел. И Семён Ульянович тогда строил осторожное укрепление вокруг Верхнего города: выкопал ров, отсыпал вал, поставил деревянные стены-городни и четыре бревенчатые башни. Он не обиделся, что им пренебрегли, но затосковал, будто на его невесте женился кто-то другой. И сейчас можно попытаться всё исправить.

А Гагарин вглядывался в Ремезова. Старик-то, оказывается, в сказки верит. С каким детским простодушием он заманивал князя лестью – «как царь сидеть будешь!», – чтобы князь соблазнился его мечтаньем. Но была в архитектоне святая и простая правда. Бог всегда на стороне таких, как Ремезов. На них всегда солнце светит. Ежели хочешь, чтобы бог тебя видел, держись на свету. А Матвею Петровичу очень нужна была божья помощь.

– Ну, ты размахался, Семён Ульяныч, – задумчиво сказал Гагарин то ли с одобрением, то ли с осуждением. – Кремль... Кто сейчас кремля строит? Ныне города новые – как у царя Петербург: всё, понимаешь, плоско так, ровненько, в единую линию. Не для обороны, а для господского гулянья. Першпектив называется.

– А чего ты меня поучать вздумал? – опять встопорщился Ремезов.

Все эти новшества, о которых он слышал от приезжих, казались ему бессмысленной блажью. Так в нём звучала ревность жителя окраины.

– Не я тебя поучаю. Голландцы нас всех поучают.

– Ты, князь, сам себе можешь куций галанцкий дворец откозлячить, только галанция вокруг него не нарастёт! – Ремезов от злости сорвал шапку и зажал её в кулаке. – Кремль не тебе, а народу нужен!

– Я не хуже тебя народ знаю! – вспыхнул и Гагарин. – Я пять лет московский градоначальник! Я весь Белый город после пожара в камне отстроил! Всяких хоромин наворотил! На меня иноземцы работали!

Матвей Петрович гордился, что восстановил старую столицу, исполнил указ царя и обезопасил Москву от огня. Он разбирался, что такое зодчество. Дворец на Тверской возвёл ему сам Ванька Фонтана, итальяшка, который в Москве строил дворцы Лефорту и Апраксину. И Фонтана был услужливый, как девушка, всегда вином потчевал, не то что этот сучкастый пенёк Ремезов.

– Велика слава – иноземцы! Тут Сибирь! – Ремезов потряс шапкой перед носом Гагарина. – Сюда иноземцы только пленные доходят! У нас надо всё по завету делать, по-соловецки, чтобы как брюхом сшибало!

– Царь старину взашей гонит!

– А как здесь без неё? Она одна всё крепит! Или не помнишь Сибири?

– А ты на меня не ори!

Матвей Петрович забыл, что он князь и говорит со смердом. Ремезов уязвил его прямо в душу, и гнев князя Гагарина был не наигранным, с каким он порой обрушивался на дьяков и чиновников, а настоящим. Царская неметчина со всеми её париками и шпагами, экзерцициями и фортециями Матвею Петровичу и самому не слишком нравилась. Он вырос на кондовом московском боярстве, а возмужал на кондовом сибирском воеводстве.

Дед Матвея Петровича служил воеводой в Томске, отец – в Нарыме и Берёзове. Братья Иван и Матвей Гагарины по молодости были стольниками у царя Иван-Лексеича, а Милославские иноземных новшеств при дворе не жаловали. Потом братья тоже уехали воеводить в Сибирь, в Иркутск, затем Матвей Петрович уже один отправился в Нерчинск.

Словом, князь Гагарин привык к отеческой старине. Однако десять лет он был любимцем Петра Лексеича, и пришлось отвыкнуть. А сейчас этот архитектор попрекает его, будто он замятовал, на каких опорах русское державство стоит.

Лотошники на площади оглядывались, подталкивали соседей, указывая на губернатора и архитектора, которые лаялись, как два пьяных ямщика.

– Ладно, хорош глотки драть, – остывая, взял себя в руки Гагарин. – Стыдобища, люди смотрят.

– Пушай любят, какого почтения у нас губернатор!

Ремезов сердито уставился на собор. Гагарин толкнул его в плечо.

– Я же не спорю, Ульяныч, что кремль красивей першпектива. Будем думать про него. Ты у нас архитектор. Но лошадей-то не гони.

– «Будем думать!» – передразнил Ремезов. – Денег давай, губернатор!

– Дам, не вопи, – вздохнул Гагарин. – Начнём с башни на взвозе и с церкви на мысу, а кремля пока не касаемся. Рисуй мне чертежи.

Глава 9

Конклюдии

Сейчас всё растолкую, сам-то лишь вчера узнал, – Семён Ульянович внимательно оглядел сыновей. – Конклюдии – заморские придумки, царь их возлюбил и свой дворец имя восхитил. Вот и Матвей Петрович сего же себе пожелал. Конклюдия, значит, суть картина, густой краской на грунтованном холсте писанная, размером в сажень, как образ с Деисуса, – Семён Ульянович для наглядности показал руками, хотя его сыновья знали, каковы размеры икон деисусного чина. – Но главное – что и как изображённое есть.

Для пояснения Семён Ульянович против воли скатывался на какую-то выпрепную речь, но иначе у него не получалось. Сыновья молча слушали.

– Конклюдии пишут вроде канона «древа». Помните, мы олифили из Абалакской обители образ «Древо Иисусово»? Вот подобное же. Малюешь, значит, в красках на весь холст древесю, в ветвях его чаши цветочные, а в чашах – всякие парсуны, чтобы на них люди делали то, чем прославлены. И вскрай письмом повествуется, кто сей муж, и какой подвиг совершил.

– Хитрое дело, батюшка, – с уважением сказал Леонтий.

Ремезов хмыкнул.

Семён Ульянович ещё месяц назад отнёс губернатору чертежи башни на взвозе и церкви на мысу и принялся ждать ещё какое-нибудь задание. Вчера Матвей Петрович наконец-то вызвал его к себе.

– Ты же иконожник, изограф, верно? – спросил князь.

– Да всё могу, – самоуверенно ответил Семён Ульянович.

– Мне в дом картины будут нужны. Ты и намалюй.

– А что за картины? – заинтересовался Ремезов.

– Конклюдии про твою Сибирь. Про всех воевод, про крестителей, про города. Словом, про всё, что здесь случилось важного с Ермаковых времён. Ты, говорят, о том летопись написал, выходит, гишторию знаешь.

Гагарин показал Ремезову в печатной книге конклюдии с какими-то королями, и Ремезов понял, чего хочет губернатор. Потом Матвей Петрович потребовал Сванте Инборга, артельного шведских плотников.

– Со Свантеем по чертежу мы посчитали простенки в трапезной, где будут висеть картины, и вышло четырнадцать штук, – сообщил сыновьям Семён Ульянович. – Четырнадцать конклюдий – хороший заказ. Так что, сыны, сейчас будем распределять, чего на какой картине изобразим. Сенька, бери перо. Надобно все старые великие дела припомнить.

– Слышь-ка, отец, старо ты дело великое, – окликнула Митрофановна, – а за работу тебе заплатить князь-то обещал? Или опять царю подарок будет от голожопиков? У нас и рожь на исходе, две чети осталось, и овёс.

Семён Ульянович сделал вид, что не слышит ехидства жены.

Совет с сыновьями Семён Ульянович держал во дворе своего обширного подворья. Посреди двора поставили стол, и вокруг, каждый на своей стороне, сидели сыновья: по правую руку – старший Леонтий, по левую руку – Семён, второй сын, а напротив – Петька, хотя он был ещё мальчишка, и права голоса не имел. Перед Семёном Ульяновичем лежала раскрытой большая и растрёпанная Служебная книга – изборок записей и черновики его многочисленных чертежей. Семён-младший приготовил листы бумаги и чернильницу, чтобы записывать. У Левонтия почерк был красивее, чем у Семёна, однако Левонтий слишком долго выводил буквы полуустава, а Семён ловчее вёл завитушки и росчерки скорописи – ему бы в дяки.

На дворе от крыльца мастерской – солидной избы на подклете – до скобы на углу бани была протянута верёвка, и Ефимья Митрофановна с Машей, единственной дочерью Ремезо-

вых, развешивала постиранное бельё на просушку. Маша брала рубахи и порты из ушата и закидывала на верёвку, а Митрофановна расправляла и прихватывала раздвоенными щепочками.

– Слабо отжала, Манюша, – негромко сказала она. – Смотри, капает.

– С девушками отжимали, матушка, сколько сил было.

Варвара, жена Леонтия, сидела на лавочке у большого крыльца и сучила нить с клока шерстяной кудели, висевшего на расписной лопасти ручной прялки. Лопасть украсил Семён-младший, он любил рисовать цветы и листья. Колёсная прялка у Варвары осталась в доме, слишком хлопотно было вытаскивать её на улицу. Варвара привычно вытягивала нитку и поглядывала на детей. Танюшка, дочь Семёна, ползала в травке, что уцелела в углу двора, посередине плотно вытоптанного. Девочка только училась ходить и пыталась сама подняться на ноги, но падала на четвереньки. После смерти Алёны, жены Семёна, Варвара заменила Танюшке мать. А Федюнька, младший сын Леонтия и Варвары, смотрел на собак, ухватившись за доски забора, ограждающего собачий загон, устроенный Ремезовыми по примеру остяков. Оба мохнатых пса Ремезовых, Кучум и Батый, лежали на солнечном пригреве на боку, одинаково вытянув лапы, словно померли от наслаждения. Федюнька присел и попытался сквозь щель дотянуться до хвоста Батыя.

– Не трожь! – строго сказала ему Варвара. Она была баба работящая и немногословная.

– А кому что делать поручишь, батя? – спросил Леонтий.

К своему ремеслу иконника и чертёжника, а теперь и зодчего, Семён Ульянович пристроил всех сыновей, кроме третьего – Ивана. Ванька с женой уехал в Енисейск в городские казаки, и вернётся ли домой – неведомо. Впрочем, рослого и сильного Леонтия тоже, бывало, сдёргивали на службу, если тобольский воевода отправлял своих драгун усмирять вечно бунтующих башкирцев, или отбивать набег казахов на слободы верхнего Тобола, или догонять какую-нибудь орду калмыков-джунгар, которые воровали скот. Леонтий числился служилым в полку полковника Васьки Чередова.

– Ну, человек-то я сам нарисую, своей руке верю, – задумчиво сказал Семён Ульянович. – А прочее...

– Батя, дай мне воинов малевать, – сразу попросил Петька.

Петьке отцовские занятия были неинтересны. Нимбы святых, чертежи городов – тьфу, скукота. Вот походы воинские – это здорово. Петька страдал, что у него такая кислая семья. Батя – книжник, Сенька – богомолец, только Лёнька годился в родню, потому что саблей помахал, даже вон щеку ему калмыцкое копьё порвало, но и Лёнька – тюфяк, батяке в рот смотрит.

– Я без харей нарисую, лишь бы на мечях сражались, – добавил Петька.

– Харя – это у тебя, Петька! – гневно ответил Ремезов. – А мы рисуем мужей достойных, у которых лики благородные! Краски нам будешь тереть.

Петька приуныл. Ему было тринадцать лет, и его тянуло на улицу.

– А мне, батюшка, дай зелень рисовать, – сказал Семён. – По мне – ветви кудрявые, виноград, райские плоды. Облака могу. Птиц небесных.

– Твоя воля, Сенька, – кивнул Ремезов.

Семён-младший очень тосковал по Алёне, покойной жене. Алёна умерла родами Танюшки. Ремезовы надеялись, что время утешит Сеню, но Сеня всё никак не мог выйти из печали. Семён Ульянович опасался, что сын примет постриг, и даже тайком сбегал в Знаменский монастырь – попросить, чтобы Сеньку не принимали, если явится. Настоятель укорил Семёна Ульяновича.

– На меня-то особо не надейся, батя, – виновато сказал Леонтий. – Сам знаешь, пером-то я хорошо, а красками мазать – мимо цвета, без подобия получается. Вы с Сеней рисуйте, а я письмена напишу, которые положено.

– Будь по-твоему, – согласился Ремезов. – Давайте про дело говорить.

Семён Ульянович был по-юношески вдохновлён предстоящей большой работой: перебрать в памяти самоцветную историю Сибири и запечатлеть её красками на холстах – будто самому прожить ещё один век. И день такой хороший, солнечный, и в синем небе – сверкающее белое облако, словно взмах божьей кисти, и сыновья рядом, и на подворье мир и благополучие.

Подворье было великовато для Ремезовых, ведь Семён Ульянович измерил его с расчётом на семьи Ваньки и Сеньки. Большущая избушка, выстроенная «брусом» на две связи – зимнюю и летнюю, – занимала всю правую сторону подворья. Ко двору изба была обращена крытым гульбищем на брёвнах-выпусках, и широкая лестница будто приглашала в сени. Под помостом гульбища в стене подклета темнели двери хозяйственных камор.

Левую сторону составляли амбары, баня и конюшня с коровником, над стойлами был надстроен сеновал. Семён Ульянович гордился своей рабочей избой – мастерской; она выходила во двор торцом с высоким крылечком, а длинным задом выдвигалась из подворья в огород, что тянулся до мелкой и болотистой речки Тырковки. Проёмы между избой, мастерской и баней загораживали заборы с калитками. А от улицы подворье ограждал мощный сибирский заплот из лежачих полубрёвен. Ворота у Ремезовых были на две створки, с тесовой палаткой, с киотом, с толстым закладным засовом, а сбоку имелась отдельная дверка на щеколде, чтобы не распахивать всё воротное прясло, ежели кто придёт, и в дверке было прорезано окошечко. По двору бродили куры; на поленнице топтался, брэнча копытцами, козлёнок; в долблёной колоде – поилке для скота – плавали утята; стояла пустая телега, корячились козлы, чтобы пилить дрова; из чурбака торчал топор.

– Первую конклюдацию про поход Ермака сделаем, – Семён Ульянович даже разволновался, приступая к сочинению. – Чай, с него Сибирь началась. Пиши, Сеня. Одесную древа русских нарисуем, ошую – татар. У наших, ясно, парсуны Ермака, Ваньки Кольца, Никиты Пана, Богдана Брязги.

– Мещеряка надо, – добавил Леонтий. – Всё ж последний атаман.

– И Матвея Мещеряка, – кивнул Семён Ульянович. – У татар – хана Кучума, храброго царевича Маметкула, хитроумного Карачу.

– Давай, батюшка, и красавицу Сузге, кучумовскую возлюбленную, – предложил Семён. – Добрая девка была, честно погибла.

– Пиши и Сузге.

– Жениться Сёмушке надо, – тихо сказала Митрофановна Маше.

Обе они издали слушали разговор мужчин.

– А внизу нарисуем, как царь Грозный и Георгий Победоносец из леечек поливают древо Сибири, – придумал Леонтий.

– Записывай, Сеня.

– На ветвях, батюшка, я могу на русской стороне соколов изобразить, а на татарской стороне – ползучих змей, – не поднимая головы, сказал Семён.

– Записывай, добро.

У Маши и Митрофановны закончилось бельё в ушате.

– Отдохну я с Варей, – Митрофановна подняла пустой ушат за ухо. – А ты, Манюша, стащи козлёнка с поленницы. Он же всё рассыпет, озорник.

Митрофановна пошла к Варваре и грузно присела на скамейку. Маша, убирая прядь волос под платок, направилась к поленнице.

– Мека-мека-мека, – позвала она козлёнка. – Иди ко мне, дурачок.

– Вторую конклюдацию нарисуем про сибирских иереев, – рассуждал Ремезов. – Начнём с владыки Киприана, он Ермаковым казакам поминовение установил. Потом Макарий, который злую Коду покрестил. Нектария тоже надо, при нём в Абалаке Божья Матерь явилась. И митрополита Игнатия надо, он мощи Симеона Верхотурского свидетельствовал...

– А Герасима архиепископа? – спросил Семён.

– У него слава дурная. Жесток был и родню на хлебные места сажал.

– Зато иконописец.

– Ладно, в Знаменском монастыре спрошу, стоит ли Герасима малевать, – решил Семён Ульянович.

– Иереям на ветви я голубиц и серафимов нарисую, – записал Семён.

Маша с козлёнком под мышкой подошла к Семёну Ульяновичу.

– Батюшка, ты меня обещал с девушками погулять отпустить.

– Какое гулять, Марья? – сразу раздосадовался Ремезов, не желавший отвлекаться от конклюдий. – Ты мне вчера поперечила? Поперечила! Отцу родному зубы казала? Казала! Теперь сиди на дворе, ерохвостка! Поделом!

Маша пылко покраснела от обиды. Она всегда легко краснела. Она была белокожая, веснушчатая, слегка рыжеватая, вся вразлёт и обликом, и характером. Характером-то – в отца, а обликом – в деда Митрофана.

– Да отпусти ты её, батя, – миролюбиво попросил Леонтий.

Семён Ульянович шумно засопел, кипя негодованием.

– Меньше суеты от неё – нам легче работать, – усмехнулся Леонтий.

Семён Ульянович всегда был придирчиво-строг с Машей. Таких отцов дочери обычно боятся, но Маша любила батюшку, потому что для неё он был скорее дедом, а за отца ей стал старший брат Левонтий. Семён Ульянович женился поздно, на четвёртом десятке. Ефимья Митрофановна была моложе него почти на пятнадцать лет. У них сразу родился Леонтий, потом Никита, но он умер младенчиком, потом Семён – он получился на шесть лет моложе Леонтия, потом Иван. А потом долгие двенадцать лет дети не заводились, и вдруг выскочила Машка, а за ней – Петька. Петька и сделался отрадой для стареющих родителей – ненаглядным поскрёбышем. Леонтию тогда было уже за двадцать, он женился на Варваре и вместе с ней присматривал за малой сестрёнкой, обделённой заботой отца и матушки.

– Ладно, иди, – буркнул Маше Семён Ульянович.

Маша выпустила козлёнка и прыснула со двора.

– Одну конклюдия про деда нашего надо нарисовать, – предложил Леонтий, чтобы умиловить отца. – Как он кольчугу Ермака тайше Аблаю увозил. Одесную деда изобразим, воеводу Хилкова и Ермака в панцире, вроде как он деда благословляет, а на другой стороне – Аблая, царевича Девлет-Гирея и мурзу Бек-Мамета Кайдаулова, который панцирь хранил.

Семён Ульянович сразу забыл обо всём.

– Молодец, Левонтий! А ты, Сенька, в древе для деда нарисуй птицу сирина, а для калмыков – чёрных воронов!

Сорванцу Петьке нечем было пособить старшим братьям и батюшке, он тихонько достал ножик и, пряча руки под столом, строгал из щепки сабельку для Лёшки, левонтьевского сына. Семён Ульянович видел это, но не ругался. Он напряжённо размышлял про конклюдии и про Сибирь.

– Думаю, одну холстину надо посвятить основанию Тоболеска.

Конечно! Письменного голову Данилу Чулкова нарисовать, который на Алафейских горах построил из лодейного леса первый острог. Нарисовать хана Сейдяка, который занял Искер, опустевший после ухода ермаковцев, и грозил Тобольску, но Чулков заманил его в гости, взял в плен и отослал в Москву. Нарисовать Логгина и Дионисия, первых иноков Тобольска...

– Одного Тобольска мало, – задумчиво сказал Семён. – Надо и прочие древние города помянуть: Пелым, Тюмень, Тару, Сургут, Нарым...

Тяжёлые, кряжистые, свилеватые имена сибирских городов звучали так, словно у земли их вырвали под пыткой.

– Верно! – сразу согласился Семён Ульянович. – А к воеводам добавить атамана Тугарина Фёдорова, который Пегую орду побил.

Дверка у ворот открылась, и во двор влетели Лёшка и Лёнька-младший – сыновья Леонтия. Восьмилетний Лёшка нёс деревянное ведёрко с тяжёлым уловом, а шестилетний Лёнька – удочки.

– Батька, деда, мы шуку поймали! – закричал Лёшка.

– Мы ссюку поймали! – тоже крикнул беззубый Лёнька.

– Не горлань, – одёрнула сыновей Варвара.

Леонтий оглянулся. Лёшка ринулся было к нему, но Митрофановна успела уцепить старшего внука за рубашку.

– Не мешай батьке с дедом, – сказала она. – Мне покажи добычу.

Лёшка тотчас поставил ведро и, плеща водой, вытащил большую тёмно-серебристую рыбину, увесисто бьющуюся в руках. Петька задёргался за столом и вытянулся в струну, чтобы разглядеть шуку.

– Ух, какая здоровущая! – притворно восхитилась Митрофановна.

– Ты Лёньку в воде не топил? – строго спросила Варвара.

– Да не топил я его! – отбрыкнулся Лёшка.

– Я тозе его не топил! – гордо сообщил Лёнька.

А Семён молча смотрел на дочку. Забытая всеми Танюшка подползла к заплоту и, держась за бревно, сама медленно встала на ножки. Она стояла ещё неуверенно, ещё покачивалась, и Семён похолодел: ему показалось, что над Танюшкой склоняется Алёна – невидимая и неосязаемая, она всё равно готова была подхватить девочку, если та вдруг начнёт падать.

Видит бог, это и было счастье, о котором просят люди, но Ремезов-старший не глядел ни на внуков, ни на сыновей. Он переворачивал толстые жёлтые листы своей Служебной книги и вперебежку читал быстрые строки, набросанные полууставом. В его воображении плыли суровые обветренные лица давно умерших или убитых воевод, землепроходцев и митрополитов. Он слышал свист якутских стрел, набат илимского бунта и яростную пальбу Албазина, слышал треск рвущихся в бурю парусов на кочах Семёна Дежнёва и рёв огнедышащих гор Володьки Атласова, что грозно пылают у обрыва мира над прибором божьего окиана. Там, в дальних пределах Сибири, в полуночной непогоде чернеют бревенчатые башни заброшенной Мангазеи, там в мокрой тундре из мерзлоты, задрав изогнутые бивни, тихо вытаивают косматые туши мамонтов, там горы, там тигры, там степь, в которую монголы затоптали мёртвого Чингиза, там китайский богдыхан во дворце за Великой Стеной разит кривым мечом золотого дракона, там чёрные шаманы взлетают к демонам в дыму жертвенных костров заклётого острова Ольхон.

За долгую жизнь Семён Ульянович уже привык, уже примирился с тем, что никому эти чудеса не любопытны. Его познания – настоящая громада, но по всем её ходам и закоулкам он странствовал без спутников, и даже сыновья были рядом лишь по сыновнему долгу. Можно было насмерть отравиться горечью одиночества, но слишком прекрасен был мир, чтобы его покинуть. Семён Ульянович перебирал в уме сокровенные имена и события этого мира, словно монеты и драгоценные камни в ларце.

То были его личные богатства, его собственная несметная казна. Душа его млела и трепетала среди этих негасимых огней. Он мог навсегда оставить это волшебное самоцветье одному себе, как молитвенник одному себе оставляет горний свет открывшихся вершин. Но Семёну Ульяновичу было мало уединённого созерцания. Он хотел показывать свои сокровища, да что там показывать – хотел изумлять ими, раздавать их, дарить. Они же были неразменными и неиссякаемыми, и чем больше отдаёшь, тем больше имеешь.

Глава 10

Кто кому платит

Пока не было покупателей, бухарец Турсун сидел в своей лавке лишь при свете углей в жаровне – ставни на двух маленьких окошках мерзливый Турсун закрывал, чтобы не выстуживало. Угли сказочно переливались в плоском медном тазу на коротеньких изогнутых лапках, и посуда на полках таинственно поблёскивала, будто сокровища в пещере джинна: пузатые и тонкогорлые кумганы, похожие на павлинов; покрытые чеканкой блюда Исфахана; большие казаны с витыми ручками, поставленные на полу набок; толстое зелёное стекло Ургенча и расписной китайский фарфор.

Ремезов распахнул дверь, вошёл в лавку, окутанный облаком холода, и привычно пошаркал подошвами по тряпке, брошенной у порога.

– Почто впотьмах сидишь? – спросил он. – Марeya, ноги оботри.

– Салам, Семён! – обрадовался Турсун, вскочил и сунул в угли лучину.

Светец озарил товары бухарца – тебризские ковры на стенах, полосатые халаты, обитые серебром сёдла, сундуки, мешки в углах, ларцы и коробочки на полках, отрезки ткани на прилавке. Маша восхищённо оглядывалась.

– Чего желаешь, Семён-эфенди? – широко улыбался Турсун. Ремезов был давним и выгодным покупателем.

– Бумагу покажи.

Турсун сразу нырнул в сундук, где лежали стопы разной бумаги, и выложил на прилавок несколько листов. Ремезов вытер руки о грудь и принялся придирчиво разглядывать листы, поднося их к лучине на просвет.

– Смотри, Марeya, – строго сказал Ремезов, – на хорошей бумаге есть водяные знаки. Мне нужны вот эти – с волком, с кораблём и где башка дурака в колпаке. Другая бумага – только высморкаться в неё.

На боку у Ремезова висела большая прямоугольная сумка из кожи.

– Дочку решил к ремеслу приставить? – спросил Турсун.

– Не бабское дело книги писать, – отрезал Ремезов. – Учю бумагу выбирать, чтоб вместо меня к тебе, торгашу, бегала.

– Возьми нашу бумагу, бухарскую.

– Дрянь ваша бумага, – уверенно заявил Ремезов. – Рыхлая и толстая. Краску пятном впитывает, а наклеишь на доску – желтеет, собака.

– Скоро Ходжа Касым китайскую привезёт, рисовую.

– Рисовая от нашей краски буровится, или пузырём её выгибает.

– Воском натирай. Или мои краски бери.

– А что у тебя? – с сомнением заинтересовался Ремезов. – Давеча ты мне продал – дак лучше ослиным навозом рисовать.

– Камча твой язык, Семён-ата! – обиделся Турсун. – Дочь у тебя – роза Ширази, а ты ругаешься в её чистые уши, как погонщик!

Маша польщённо заулыбалась бухарцу. Турсун нырнул в другой сундук и начал выставлять на прилавок маленькие глиняные горшочки с красками.

– Мне ведь губернатор конклюдии написать заказал, – с нарочитой небрежностью сообщил Ремезов. – Слышал небось?

– Весь Тобольск о том шумит, – угодливо пропыхтел Турсун из сундука.

Ремезов выпятил грудь и важно расправил бороду.

– Вот кармин, – начал объяснять Турсун и поцокал языком от восторга, – вот сурьма, вот илийская земля, она как персик, а вот тёртый малахит.

– Вохру я на Сузгуне беру и в деревянном масле творю, – Ремезов внимательно разбирал горшочки с красками, – и ярь-медянка своя.

– Киноварь, – показал Турсун, – её яйцом разводить. Горит, как бычья кровь. А эти чёрные – из жжёной слоновой кости и ореховой скорлупы.

– Я на печной саже делаю.

– Сажа глухая, а ореховая краска мягкая, древесное тепло показывает.

– Олифу или гречишный мёд добавить – то же самое.

– Ещё у меня коралл есть и пурпур из Трабзона, – похвастался Турсун.

– Дорого, – вздохнул Ремезов. – Спрошу у Матвея Петровича. Даст денег – пришлю к тебе Машку за пунцом.

– Тогда и про лазурь спроси. На уксусе она как глаза у шайтана.

– Я уже думал, – Ремезов потеревил бороду, – боюсь, на уксусе парсуна вонять будет два месяца, не примет Матвей Петрович в горницу.

– А для Мариам не возьмёшь гюлистанские румяна? – Турсун посмотрел на Машу и весь сморщился в улыбке. – Щёчки будут как яблочки!

– Рано ей ещё, – сердито заявил Ремезов. – Намажется – я её проучу, как Ванька Постников свою Аньку проучил.

– А что Иван-бай сделал? – купился любопытный Турсун.

– Умыл Аньку. Взял её за ноги и крашеной мордой по всему Прямскому взвозу проволочил от Софийского собора до щепного ряда.

– Ай-яй-яй! – поразился Турсун. – Нехорошо!

– Не было такого, дядя Турсун, – сказала Маша. – Батюшка сочинил.

– Сердитый ты, как верблюд, Семён-эфенди! – опять обиделся Турсун. – Такую красавицу красотой попрекаешь! Звезда Чимгана! Какой калым за неё попросишь? Я младшему сыну ищу жену.

– Тебе мой калым не по кошелю, – надменно сказал Ремезов.

– Откуда тебе знать? – заревновал Турсун. – Назови цену!

Маша смущённо отступила за плечо Ремезова.

– Отдам Машку за зверя такого – крокодил называется. Добудешь?

Ремезов говорил совершенно серьёзно. Крокодилов рисовали на лубках, купцы привозили такие лубки из Москвы в Тобольск на ярмарки. Семён Ульянович сам покупал Петьке лубок про войну Бабы Яги с крокодилами.

– Добуду! – самоуверенно заявил Турсун. – А что это за скот? На буйвола похож? На овцу? На кого?

– На Ходжу Касыма вашего.

– Опять шутишь, Семён-ата? Говори правду! Что делает крокодил?

– Крокодил – лучшее тягло хрестьянину, – сообщил Семён Ульянович. – Хошь – паши на нём, хошь – скачи верхом, хошь – на охоту с ним ходи, и удой по три ведра.

Маша, отвернувшись, смеялась, а Турсун искренне заинтересовался ещё неизвестным ему ценным животным. Он решительно выложил на прилавок перед Ремезовым обрывок бумаги и поставил чернильницу с пером.

– Нарисуй мне крокодила! – потребовал он. – Ты же изограф! Нарисуй, а я найду в Бухаре, там всё есть, ежели не в куполах, так на улицах!

Оставив Турсуна в лавке рассматривать крокодила, Ремезов и Маша шли по торговым рядам Троицкой площади. Вообще-то Семён Ульянович направлялся к обер-коменданту Бибикову, но по пути хотел посмотреть в глаза приказчику Куфоне, который с весны задолжал четвертак.

Глухие облака над Тобольском сцепило судорогой холода, и то и дело сеялся мелкий колкий снег, словно ледяной песок. Гряда Алафейских гор, что возвышалась над площадью, каза-

лась сверху донизу плотно выбеленной извѣсткой; длинная линия строений Софийского двора слилась с крутыми откосами в общий объѣм; все тени исчезли, будто замазанные мелом, – и складки склона, и углы башен, и грани шатров. Однако на площади многолюдное торжище истолкло свежий снег в чѣрную жидкую грязь.

Ремезов пробирался сквозь толпу, придерживая сумку, и здоровался направо и налево, а Маша с любопытством глазела по сторонам. Прилавки, палатки, лотки, телеги с мешками, пар от дыхания, связки калачей, поленья мороженой рыбы, горшки, бочки, покрасневшие руки торговцев, зазывающие улыбки продавцов, тулупы, возбуждѣнные голоса, собаки, сдвинутые на затылок шапки, быстрые косые взгляды проходящих мимо парней...

Семѣн Ульянович и Ефимья Митрофановна запрещали Маше ходить на Троицкую площадь в базарные дни, но Маша, конечно, украдкой бегала сюда – ведь нестерпимо любопытно. В одиночку, конечно, Маша и сама боялась, поэтому брала кого-нибудь из девушек со своей улицы или младшего брата Петьку. Паршивец Петька быстро смекнул свою выгоду и потребовал обмен: он молчит, что Машка шастает на базар, а Машка молчит, что Петька под мостом через речку Курдюмку с мальчишками играет в карты. Но карты – большой грех. Бабка Мурзиха рассказывала, что карты придумал сатана и подсунул апостолам; они заигрались и проворонили, что солдаты схватили Христа. Маша не хотела, чтобы за карты брата в аду кипятили в котлах, и перестала брать Петьку на базар, а заодно пообещала пожаловаться батюшке. Батюшка Петьке руки оторвѣт. За это Петька засунул Маше в карман мышь.

Ремезов протолкался к загону, где продавали людей. Невольники жили в большом щелястом сарае, над неряшливой кровлей которого торчали две деревянные печные трубы; сейчас из них курился дымок. Двор перед сараем был застелен грязными досками и огорожен жердями. Возле ограды, гомоня и пересмеиваясь, околачивались зеваки и покупатели: приказчики, служилые, казаки-годовальщики, бухарец в татарском чекмене, монастырский эконом в рясе, захлѣстанной понизу грязью, какие-то шныри разбойного вида. В загоне у стены сарая понуро стояли в ряд шесть баб. Приказчик Куфоня ходил мимо них гоголем – в расстѣгнутом полушубке и без шапки. У Куфони была смазливая и порочная рожа, какая бывает у шулеров или воров, которые сначала втираются в доверие.

– Разбирай, мужики! – весело покрикивал Куфоня. – Вчера обоз пришѣл из Вятки! Неделю поторгую, и дальше уйдут!

В руке у Куфони был толстый прут, обложенный паклей и обмотанный кожей. Этим прутом можно было крепко ударить по шее или по спине, но костей он не сломал бы. Куфоня указал прутом на одну из баб.

– Настасья Петрова, вдова! Блудила с хозяйским сыном. Хорошая баба!

– Марея, не смотри! – сердито приказал Семѣн Ульянович.

– Серѣга, вот для тебя пригнали! – заулыбался Куфоня, узнав в толпе знакомого. – Авдотья Степанова. Вологодская корова, хоть дои. Подожгла барский овин. Спина драная, но тоже баба добрая.

Бабы-невольницы смотрели под ноги, не отзываясь на слова Куфони.

Какой-то казак навалился грудью на жердину забора.

– Вон ту покажи! – крикнул он Куфоне.

– Матрёна безотцовская, с Мезени, – Куфоня подтолкнул вперед бабу, которая приглянулась казаку. – Кружевница. Украла подсвешник в церкви. Хворая. Не купишь – помрѣт.

– Сколько просят?

– Рубль. Через неделю будет полтинник, но ты её уже не вылечишь.

Для Маши в бесстыжей торговле бабами было что-то очень жуткое, будто казнь. Как-то раз Маша спросила у матушки о продаже баб.

– Да грех оно, понятно же, – спокойно ответила тогда Митрофановна, – попущенье божье. Но ты, Манюша, не бунтуй. Всех нас продают, хотя вот так – не каждую. Дочь у отца, а

жена у мужа всегда в неволе. У девки не спрашивают, кого она хозяйном себе хочет. И меня твой дед, Ульян Мосеич, за батюшку твоего выторговал.

- За тебя дед Митрофан деду Ульяну приданое давал, а не деньги брал.
- Это не важно, доча, кто кому в купле платит. Баба всё одно – товар.
- И меня батюшка продаст? – обмирая от ужаса, спросила Маша.
- Сама боюсь загадывать, – вздохнула Митрофановна.

Но Маша тогда подумала: даже если батюшка продаст её, то ведь она самая хорошая, и её купит непременно самый лучший жених на свете, вроде Володьки Легостаева с Етигеровой улицы.

Сейчас Маша хотела послушаться отца и отвернуться от загона, однако её внимание против воли привлекла девчонка-остячка, что стояла позади русских баб. Девчонка выглядела страшно. Она опиралась на палку и была одета в рваньё, сквозь которое светило грязное тело. Чёрные ноги её были в берестяных чунях, обмороженные руки распухли, лицо покрывали синяки и ссадины, нечёсанные волосы, перепутанные с сеном, дыбились копной, а узкие глаза горели, как у сумасшедшей. Это была Айкони.

За полгода в Берёзове она сполна извела, что такое неволя. Айкони работала до изнеможения – на рыбном дворе скребком потрошила улов. Её избивали для покорности и насиловали, но она всё равно сопротивлялась, и потом в наказание её драли плетью у столба или держали в колодках. Она почти отвыкла от человеческой речи и перестала думать, зато научилась по-звериному быстро выгадывать, где будет безопасно. Она забыла, как можно плакать и жаловаться, и могла убить, если бы ей дали нож, но никто не давал ей ножа, а красть остячки не умели.

- Эй, обдувала, – позвал Ремезов Куфону, – когда мне деньги вернёшь?
- Прости, Ульяныч! – Куфоня, увидев Ремезова, в искренней досаде прижал кулаки к груди. – Забыл!.. Ей-бо, завтра занесу!

Ремезов тоже заметил девчонку-остячку.

- А вон та у тебя чего такая истерзанная? – недовольно спросил он.
- Это не казённая, – пояснил Куфоня. – Её Толбузин продаёт. Взял вместо ясака. Потрепали её промышленные.
- Пойдём, Машка, – Ремезов отвернулся.
- А как её зовут? – вдруг крикнула Маша Куфоне.
- Аконька.
- Марея! – зло зарычал Ремезов.

Остячка, похоже, была ровесницей Маше, но разница между ними полоснула Семёна Ульяновича по сердцу. Маша была чистая, ухоженная, в платочке с петухами, в шубейке, в подшитых валенках, а эта – зверушка...

- Почём она? – опять крикнула Маша.
- Пятиалтынный.

Ремезов больно схватил Машу за руку и решительно потащил от загона. Он яростно сопел и дёргал Машу, Маша спотыкалась.

- До Рождества дома сидеть будешь! – пообещал Семён Ульянович.

Ремезов и Маша выбрались из рыночной толпы и пошагали вверх по Пря姆斯кому взвозу. Маша еле попевала за сердитым отцом. Она понимала, что виновата, но, набравшись храбрости, спросила:

- Батюшка, а что с теми бабами будет?
- Да ничего с ними не будет! – огрызнулся Ремезов.

А что с ними могло случиться? Ежели не помрут в пути, то развезут их по дальним острогам, где баб всегда не хватает, и раздадут в жёны холостым служилым. Так повелось ещё со времён первых воевод: воровок, блудниц, ведьм и разных лиходеек с Руси гнали в Сибирь и

рассылали по крепостям пограничья. И жили они там потом как обычные бабы, и получались из них обычные хозяйки: дом, скотина, дети. Всё так. Но опыт подсказывал Семёну Ульяновичу, что истерзанная девчонка-остячка не уцелеет. Сильно побита – значит, не гнётся. А такие не выживают.

– Купи её, батюшка, – вдруг тихонько сказала Маша. – Ты же говорил, работница нужна. – Не твоего ума дело! – рявкнул Ремезов, не оглядываясь.

Он кряхтел, медленно взбираясь по крутизне, и думал, что работница и впрямь нужна. Подворье большое. Ему самому скоро семьдесят. Ефимья тоже не девушка. Машку замуж заберут. Петька ещё молод, женить его рано. Семён всё никак не может оправиться после смерти Алёны, того и гляди в монастырь уйдёт. А у левонтьевой Варвары и так забот полон рот: Алёшке, старшему, всего восемь, а тут и Левонька-младший, и Федюнька трёхлетний, и семёнова Танюшка только-только на ножки встала... Нужна работница.

У Ремезовых уже была работница – остячка Пеуди. Поначалу и говорить по-русски не умела, а затем ничего, освоилась. Семён Ульянович научил её буквы разбирать и склонил креститься. Однако холопов-инородцев, которых крестили, полагалось из неволи выпускать. Семён Ульянович и выпустил Певудьку. Пришлось ещё и приданое ей собрать, когда у ворот вдруг начал крутиться жених. Сейчас Певудька в Ишиме с мужем живёт.

Ремезов и Маша подошли к Приказной избе, дымившей всеми трубами на крыше. На «галдарее» два сторожа, прогнав народ, сгребали лопатами снег. Перед крыльцом стоял десяток крестьянских розвальней, в которых, закутавшись, лежали просители, ожидающие вызова. На брёвнах у стены сидели писцы: на коленях дощечка с листом и банка с песком, в отвороте шапки – отточенные перья, за пазухой – чернильницы, чтобы не замёрзли чернила. Писцы за денежку писали неграмотным мужикам челобитные. Один писец поучал стоящего над ним крестьянина:

– Ты тут не хвастай, чурбан. Грамоту сочинять надо жалостливо, чтобы слезу вышибало. Дескать, обнищали, оборвались, меж дворов скитаемся, молим подати снизить, на сколь помилуешь, государь.

Из двери палаты выглянул дьяк и заорал:

– Которые с Ялуторовской слободы? Заходи!

– Здорово, здорово, бог помощь, – проворчал знакомым писцам Ремезов и полез по крутой лестнице. – Недосуг лясы точить, братцы.

Маша осталась на улице. Она сразу подошла к ближайшей лошади, выгребла из кармана горсть овса и принялась кормить с ладони. Она думала: будь у неё жених Володька Легостаев с Етигеровой улицы, она бы сказала ему, а он бы на коне прискакал на торг, схватил ту остячку и умчал бы за околицу, а там отпустил на волю, и никто бы его не словил.

Обер-комендант Бибииков заседал в самой дальней, то есть самой важной палате. При нём за соседним столом сидел собственный подьячий – Минейка Протасов по прозвищу Сквозняк, такой он был лихой по части поборов. Семён Ульянович, не раздеваясь, достал из своей сумки жёсткий выбеленный холст, сложенный в восьмую долю, как скатерть, и бережно разложил на столе перед Бибииковым. На холсте была начерчена карта Сибири.

– Вот, исполнил, – с достоинством сказал он. – От Москвы до Камчатки и Китая. Камчатку я забелил и заново начертил, уже правильно. Угол с Астраханью отрезал, совсем он обтёрхался, и новый пришил. Про Мангазею подписал, что пустая. На Байкале пятно было грязное, я отмыл. Где мыши погрызли, залатал. С казны за работу мне двугривенный.

– Нету денег в казне, Ульяныч, – убито сказал Бибииков.

– Я уж не помню, чтоб они были, Карпуша, – распрямляясь, язвительно сказал Ремезов. – Вечно нетути. Как ни хватать, всегда «Твою мать!».

– Истинный крест! – Бибииков, глядя снизу вверх, перекрестился.

– Какой крест, сквалыга? – снова разозлился Ремезов. – Опять жмёшь? На мне нажиться хочешь? Из блохи голенище кроишь!

– Не сердчай, Ульяныч, что я сделаю? Всё выгребли, Минейка свидетель! – Бибиков, моргая, указал на Минейку Сквозняка.

– Экий ты кисляй! – с презрением бросил Ремезов. – Дак сделай что-нибудь, печной наездник! Иди к губернатору, займы попроси! У него любой башмак дороже моей избы! Подаст нищему!

– Нельзя мне к их сиятельству! – страдальчески признался Бибиков. – Они кричат, что вор я, убьют меня!

– Ну дак я сам пойду! – распалаясь, загремел Семён Ульянович. – Скажу ему: твой беркомендантус паршивой собаке кость задолжал! Гони его, князь, на паперть христарадничать!

Минейка Сквозняк захихикал.

– Давай как-нибудь по-другому, Ульяныч, а? – заелозил Бибиков. – Могу тебе лес строевой отписать... Или хочешь, шведа дам в работники? Самого лучшего выберу, мордатого, сапожника, к примеру, а? Он тебе сапоги стачает, а ещё дрова будет рубить, воду возить, летом – на сенокос его!..

Предложение Бибикова неожиданно смутило Семёна Ульяновича.

– А это дело, Карпушка, – подумав, согласился он. – Ты же с воеводой Толбузиным друг любезный, верно?

– Верно. Агапон Иваныч – яхонт, а не человек!

– Пусть он пришлёт ко мне ясырку свою, девку- остячку, Аконя зовут. За долги в холопстве. Сегодня на торгу её видел. Тогда в расчёте.

Карп Изотыч от радости стащил шапку и прижал к сердцу.

– Душа ты человек, Семён Ульяныч! – с чувством сказал он, и глаза его увлажнились. – Хоть и ругатель страшный!

Глава 11

Следуя «Инструкции»

До смет на башню и церковь руки у князя дошли только в конце ноября. Дальше откладывать было уже нельзя: припасы для строительства следовало заготовить к весне, а князь вскоре собирался уехать в столицу. Пока шведы не доделали дворец, Матвей Петрович жил в посольской избе на Воеводском дворе, выгнав из покоев каких-то забытых аманатов калмыцкого контайши Галдан Цэрэна и подьячего Счётного приказа, который никак не мог найти оказию до Кузнецкого острога. Ремезов пришёл к губернатору с ворохом листов, исписанных столбцами цифр и перечней. Матвей Петрович даже застонал, увидев, сколько тысяч штук кирпичка потребуется, сколько бочек извести и опорного леса, сколько подвод, работников и водовозов, сколько пил и топоров, сколько полотен кровельного железа и скреповых тяг. А Ремезова ничего не смущало, он уже всё обдумал и за всех всё решил.

– Не надейся железо на Каменском заводе взять, хоть и близко, – поучал он. – Управителя тамошнего старец Исаак Далматовский под себя утоптал, он же собор в обители возводит и стены с башнями. У Демидова в Невьянске железо самое лучшее, вязкое, но Демидов дерёт, как сатана, душу тебе вынет. Бери на Алапаевском заводе, он под верхотурским комендантом – значит, в твоём кармане, только ихние тяги пусть дважды прокуют, а то лопнут.

Вятский воевода Степан Данилыч, тесть Матвея Петровича, упросил зятя приставить к делу своих племянников, и Матвей Петрович назначил верхотурским комендантом Ваньку Траханиотова, а томским – Романа.

– И откуда мне денег добыть на всё это, Ульяныч? – тоскливо спросил Гагарин у Ремезова, указывая на листы с расчётами.

– У царя берут, – пояснил Ремезов. – Филофей в Тюмени собор строит – у государя просит. И старец Исаак тоже царскими милостями пользуется. У него духовный сын Афанасий, Лёшка Любимов из Тюмени, был епископом Холмогорским, там при кораблях с Петром Лексеичем и сдружился.

– Мне Пётр Лексеич не даст, – убеждённо сказал Матвей Петрович. – Не для того он меня сюда направил, чтобы потом ссуживать.

– Тогда с таможенных доходов, как в Верхотурье и в Иркутске.

– Таможня не колодезь бездонный.

– Не мне тебя просвещать, Матвей Петрович, и в Сибири ты, конечно, не новичок, – рассудительно сказал Ремезов, – но Тоболеска не знаешь. У нас такие хитромудрые дыроделы, что обзавидуешься. Половина мягкой рухляди течёт по кабацким задворьям и торговым баням мимо твоих приказчиков. Собери всё воедино на Гостином дворе, и увидишь глубину колодца.

На Гагарина слова Ремезова произвели большое впечатление. Князь по опыту догадывался, что все ниточки тут держит обер-комендант Карпушка Бибиков. Вроде рохля, но рохля столько лет на таком месте не просидит.

Ремезовские сметы Матвей Петрович отправил к Бибикову с секретарём Дитмером, а через пару дней и сам заявился в Приказную палату за ответом. Он расселся на лавке, широко раскидав полы дорогой шубы, а Карп Изотыч, теребя в руках шапку, стоял перед ним в робком полупоклоне.

– Над сметой твоей я всю ночь плакал, милостивец, – дрожащим голосом говорил он. – Помилуй! На ружейный двор Никифору Пилёнку мы денег-то к весне ещё наскребём, а на башни эти лешачьи – откуль брать?

– Совсем нетути? – с притворным сочувствием спросил Гагарин.

Матвей Петрович разглядывал обер-комендантскую камору Бибикова. Сводчатый белёный потолок, маленькие глубокие окошки, закрытые слюдой, голландская печь в изразцах. В

углах высились поставцы с коробами, в которых хранили склеенные в свитки бесчисленные бумаги – «отписки» воевод, казачьи «сказки», «распросные речи» и сыскные дела Сибири. Между коробами были втиснуты казённые самодельные сборники в деревянных обложках: прибыльные, расходные, разборные, жалованные, окладные... На большом столе Карпа Изотыча напоказ губернатору лежала раскрытой огромная растрёпанная Записная книга – в неё подьячие заносили краткое изложение всех грамот государя и судей Сибирского приказа.

– Ещё до Успенья все деньги извели, отец мой! – в порыве искренности Бибииков прижал шапку к груди. – В казне последние двести рублей остались!

Ефимка Дитмер, понимающе улыбаясь, стоял у окна и платком протирал блестящие медные пуговицы на своём шведском камзоле.

– И где ж мне взять на мои затеи? – горько закручинился Гагарин.

– Ты себе хозяин, – угодливо подсказал Бибииков. – Это при воеводах обложение в Москве определяли, а ты сам можешь подати поднять.

– То бишь с народа денег смучить? – уточнил Гагарин.

– Не сдохнут, – убеждённо заверил Бибииков.

– А что же так бедственно у нас, Карп Изотыч?

Бибииков суетливо бросился к столу, вытащил из-под раскрытой книги какие-то бумаги и подал Гагарину. Матвей Петрович, не глядя, протянул их Дитмеру. Дитмер бережно свернул листы в трубочку и сунул в карман.

– Там в росписи всё указано, – принялся растолковывать Бибииков. – Недоимки по многу лет – и в податях, и по ясаку... Долги по жалованью служилым... Караваны снаряжали на Ямыш-озеро за солью... После пожара строились... Порох закупали... Ещё куда...

– А где ключи от казны, Изотыч? – спросил Гагарин. – Клади на стол.

Бибииков, путаясь руками, начал отцеплять от пояса большие железные ключи на кольце и благоговейно положил всю связку на Записную книгу.

– Проверь, проверь сам, государь, – приговаривал он и пальцем разгрёб ключи: – Вот от сундуков с денежной казной, вот от каморы с рухлядью, от хлебного подвала, от зелёного погреба, от цепей колодников...

Гагарин, кряхтя, поднялся и повернулся спиной к Дитмеру. Дитмер осторожно снял с плеч губернатора шубу.

– У тебя же Гостиный двор, Карпуша, – вкрадчиво напомнил Гагарин.

– Истинный бог, мой государь, – раболепно мямлил Бибииков.

– У тебя инородцы с соболями, – с тихой угрозой продолжал Гагарин. – Мужики чернозём пашут. Ярмарки у тебя. Калмыки в степи с табунами...

Бибииков согласно кивал. Матвей Петрович вдруг ухватил его за бороду, дёрнул и швырнул на пол. Бибииков загремел локтями и коленями.

– У тебя ссыльные не знают, чем руки занять! – нагибаясь над Карпом Изотычем, заорал Гагарин. – Раскольников как тараканов!

– Не губи! – взвыл Бибииков, грузно ворочаясь на полу.

Он вскочил на четвереньки и быстро пополз к выходу из каморы. Гагарин от души всадил ему сапогом в толстый зад. Бибииков вылетел в повытную палату. Гагарин шагнул вслед за ним. Дитмер, посмеиваясь, поддел носком башмака и выбросил вслед шапку Бибиикова.

Ремезов построил Приказную палату так, что на втором ярусе были три покоя: Крайний, Тронный и Передний. Тронный покой Бибииков превратил в свою обер-комендантскую камору, в Крайнем покое за замком хранилась пушная казна, а в Переднем покое, самом большом, находились повытья. Здесь за столами тесно сидели дьяки и подьячие. Дьяки ведали каждый своим повытьем, но какое мужицкое дело к какому повытью относилось – знали только черти и обер-комендант. Дьяк Баутин командовал всеми слободами на Ишиме. Дьяк Неелов учитывал доходы с рыбных песков на Оби. Дьяк Пупков занимался кружечными сборами на храмы и

татарами Барабинской степи. Дьяк Волчатов записывал и облагал раскольников и брал соляной налог с Исети. Дьяк Илья Квасников считал хлеб для беломестных казаков на Тоболе и следил за скотным торгом в Тобольске, а дьяк Никола Квасников отвечал за казённые дощаники на Иртыше. Подьячий Минейка Сквозняк держал на своём столе сметы припасов и выплат ружейного двора мастера Никифора Пилёнка с его подмастерьями. Распутать клубок дьячих дел не смог ни один тобольский воевода, начиная с самого князя Юрьи Еншина Сулешева, который завёл в Тобольске первую приказную избу. Хитрые и вороватые дьяки давно жили своим особливим бесстыжим царством.

Дьяки и подьячие повытной палаты в изумлении уставились на Карпа Изотыча, который на четвереньках стремительно полз через палату. Матвей Петрович догнал Карпа Изотыча и снова пнул.

– Матвей Петрович!.. Благодетель!.. – вопил Бибииков.

– Нахлебник кривобокий! – рычал Гагарин. – Только казну обжирал, крыса сургучная! Бороду выдеру!..

– Поделом вору мука! – злобно крикнул из-за стола дьяк Волчатов.

Матвей Петрович повернулся, отшвырнул стол и врезал Волчатову в глаз, а потом отшвырнул другой стол и врезал другому дьяку в ухо.

– Глисты вы приказные! – заорал он. – Пиявки! Мухоморы!

Матвей Петрович начал громить повытную палату, как медведь: валил столы и лавки, совал пудовым кулаком направо и налево – всем подряд. Дьяки, сообразив, кинулись прочь, сбивая друг друга с ног. Затрещали доски, по полу покатались стаканы с перьями, в воздух взлетели листы бумаги. Матвей Петрович швырял в спины убегающим подсвечники и чернильницы.

– Нечисть вы снулая! Паучьё! Трутни! – надрывался он.

Челобитчики и просители, которые толпились возле крыльца Приказной палаты, были потрясены, когда тяжёлые створчатые двери палаты внезапно распахнулись во всю ширь, и на «галдарею» полетели расхристанные и взъерошенные дьяки и подьячие. «Крапивное семя» кубарем покатилося вниз по лестнице с крыльца и бросилось в разные стороны прочь от палаты. На «галдарею» выскочил сам князь Гагарин – натужно-багровый, глаза горят, волосы дыбом. Он пинком послал вслед подьячим потерянную котомку.

– Сдохните все! – загремел он на весь Воеводский двор. – На груди золота сидят и подавья просят! Суки хворые! Всех от места отшибаю!

К вечеру по Тобольску разлетелась весть, что губернатор разогнал и перекалечил дьяков, убил обер-коменданта, объявил всем от царя волю вольную, а также закрыл Приказную палату на веки вечные, аминь.

А Матвей Петрович ничуть не переживал о своём погроме Приказной палаты. Он ведь и не злился по-настоящему – так, изобразил для народа гнев владыки, который недоволен холопами. Матвей Петрович шесть лет был главным судьёй Сибирского приказа: ему ли не знать, как ведут дела дьяки? В Москве, в Приказе, творилось то же самое. Поэтому вечером в посольской избе Матвей Петрович выпил с Ефимкой Дитмером кувшинчик фряжского вина и заснул крепко и спокойно. Он был уверен, что все дьяки всё равно вернуться на службу, и Бибииков тоже. Только теперь в Тобольске будет не Приказная палата, а губернская канцелярия, как того потребовал государь.

На следующий день Матвей Петрович сел с Ефимкой в каморе Бибиикова и начал составлять Табель губернского управления. Ещё перед отъездом в Сибирь Алексей Василич Макаров, кабинет-секретарь Петра Алексеича, вручил Матвею Петровичу «Бнструкцию», в которой изложил воззрения государя на канцелярию. Вместо прежних дьяков и подьячих должны быть канцеляристы, подканцеляристы и копиисты. Они должны ведать своим делом во всей его полноте: один – всем ясаком, другой – всеми откупами, третий – всеми хлебными

сборами, четвёртый – всей ямской службой и почтой, и таких дел Макаров насчитал на четырнадцать столов. Ещё в канцелярию требовались секретарь, регистратор и камерирер.

Управлять губернией царь повелел через четырёх помощников: обер-комендант заведует войском, обер-комиссар – деньгами, обер-провиант – хлебом, а выборный ландрихтер – судом. Пусть губернатор всем чиновникам платит жалованье, а ежели кто из них примет подношение – понимать сие как мзду и кидать под кнут. Городовые разряды надлежит считать уездами с малыми канцеляриями, а в острогах и слободах выбирать бурмистров.

Матвей Петрович и Дитмер распределили дьяков по столоначальствам. Жалованье канцеляристам Матвей Петрович определил хлебом и солью. Ландрихтера Матвей Петрович решил пока не назначать – обойдутся, он сам будет судить. В казённых трудах Гагарин и Дитмер осушили ещё один кувшинчик фряжского. В соседнем покое Приказной палаты, в бывшей повытной, плотники стучали молотками – сколачивали поломанные столы, поставцы и лавки. Матвей Петрович был доволен: он наведёт в губернии прочный порядок и через верных оберкомандиров будет регулярно и сполна иметь денежный доход от своей власти. Это уже настоящая хозяйская прибыль, а не былое тиранство, когда свирепый воевода силком гнул шею каждому дьяку, выдирая у него себе добычу, какая подвернётся.

В палатах стемнело. Плотники ушли, и только за окошком слышался хруст снега на «галдарее» – там ходил сторож. Дитмер внёс в камору к Гагарину тяжёлый шандал с толстой восковой свечой, и вместе с Ефимкой, шандалом и тенями на сводах в каморе как-то образовался Ходжа Касым с ларчиком в руках. Халат Касыма в полумраке искрился дорогой вышивкой. Касым с поклоном поставил ларчик на стол перед Матвеем Петровичем.

– Мой господин решил взять вотчину в свои руки?

Матвей Петрович не размяк от вина. Он уже давно догадался, что этот ушлый бухарец – равный ему соперник, и улыбнулся, желая побороться.

– Что вы за черти такие – бухарцы? – спросил он.

В Иркутске и Нерчинске у него бухарцев не было. Там были китайцы.

– Мы просто торговцы, – ласково сказал Касым, будто успокаивал. – На Иртыш мы ещё до русских пришли. Царь Годунов дозволил нам торговать в Астрахани, на Уфе и в Сибири без подорожных и повинностей.

– И чем торгуете, агаряне?

– А всем, мой господин, что у нас есть, а у вас нет, – многообещающе сказал Касым. – Везём цветные ткани, шёлк, медную посуду, дамасские сабли, сарачинское пшено, мускатный орех, урюк, сахар, шафран, перец...

– А отсюда что в Бухару? Соболей?

– Ты говоришь верно, мой господин.

Касым тихо поднял крышку ларца, показывая Гагарину содержимое.

– Посмотри сюда, достопочтенный. Татары из Яла-Туры нашли это в курганах по Тоболу. А я не украл их сокровища. Это ведь твоя земля, мой господин, твои могилы, твоё золото. Бери. Я ещё принесу.

Матвей Петрович вынул из кармана платок, расстелил на столе и высыпал из ларчика пригоршню золотых вещей: бляхи, застёжки, браслеты, узорчатые пластины... Вот оно какое – зачатое могильное золото... Матвей Петрович много раз слышал, что отчаянные сибирские мужики-бугровщики ищут в степях и раскапывают древние курганы, грабят погребения забытых владык. Степняки – башкирцы, казахи, каракалпаки, чёрные калмыки – охотятся на этих святотатцев и убивают их, если застанут в ямах. Но порой золото вываливается из-под плуга мирного пахаря – татарина или русского слобожанина. Клады Сибири будоражили воображение. Матвей Петрович рассматривал сокровища, и Дитмер подвинул шандал, чтобы тоже увидеть.

– А что ты хочешь за них, Касым?

– Нам, бухарцам, можно покупать меха только у единоверцев, но татары пашут поля и не ходят в лес за пушным зверем. Дозволь, мой господин, нам торговать с инородцами. Обер-комендант Бибииков, мир ему, не хотел мне помочь. Но ты видишь дальше. Пусть всё будет по закону вашей державы. Сейчас ты можешь это сделать. А я стану тебе самым щедрым другом.

Касым уже не раз пытался подкупить Бибиикова, но Карп Изотыч трусил связываться с махOMETанами. А Гагарин – Касым это видел – не из робких.

Матвей Петрович задумчиво собрал золотые вещицы в кучу на платке и принялся завязывать углы платка, а потом бережно поднял узелок и опустил его обратно в ларчик. Клады – кладами, но их ещё искать надо, а пушнина есть всегда, и какой резон делиться ею с бухарцами? Гагарин поднял тяжёлый ларец в ладонях и, наклонясь, осторожно поставил на пол, сбоку от себя. Касым проводил ларчик взглядом и одобрительно улыбнулся.

– Благодарствую за дорогой подарок, Ходжа Касым, – степенно сказал Матвей Петрович, – только торговать с инородцами я вам не позволяю.

Улыбка Ходжи Касыма дрогнула.

– Шиш тебе, бухарец, – торжественно ухмыльнулся Гагарин.

Он приехал сюда брать, а не раздавать.

...Дьяки, подьячие и писари вернулись на третий день после погрома. Всей толпой они встали в снег на колени у крыльца Приказной палаты и сняли шапки. Матвей Петрович, словно бы нехотя, вышел на «галдарею».

– Прости, в чём виновны, государь! – крикнул снизу дьяк Баутин. – Мы каемся! Прими взад на службу!

Дольше всех кочевряжился Бибииков. Матвей Петрович не ожидал от него такого упорства в обиде, но Карп Изотыч вовсе не обижался. Наоборот, он пытался понять, чем не угодил губернатору. Он бегал спросить совета к дьякам, к полковнику Ваське Чередову и даже к митрополиту Иоанну. Нюх старого плута подсказывал ему, что Матвей Петрович не мог так осерчать из-за каких-то там денег на башни Ремезова. Эка невидаль – денег нет на забаву.

Карп Изотыч дозрел к празднику Введения. На праздничную службу он решил пойти в Никольскую церковь, что стояла возле Орловской башни Софийского двора над Казачьим взвозом. Он попросит Николу Угодника, чтобы помог ему угодить губернатору, и губернатор введёт его обратно в Приказную палату. Церковные образы Карп Изотыч понимал буквально.

Звенели колокола Софийского собора. Карп Изотыч, воодушевляясь, шагал в толпе мимо Гостиного двора и Святых ворот. Рядом шли девки в красных платках, бабы тянули санки с детишками, ковыляли старухи – Введение считалось бабьим праздником, и все бабы тащились в церковь, а мужики на подворьях готовили сани: окончательно установилась зима. Бабы на ходу судачили и пересмеивались, и Карпу Изотычу после многих дней кручины тоже наконец-то стало радостно. Поодаль раздался голос ямщика:

– Брысь, бабоньки! Брысь! Брысь!

«Брысь» – значит «берегись». Карп Изотыч в толстой шубе повернулся всем телом. От ворот Гостиного двора к Казачьему взвозу ехал санный коробок губернатора, на запятках громозвился лакей Капитон. «Знамение!» – осенило Карпа Изотыча. Сам от себя того не ожидая, он бросился через толпу к возку и цепко поймал верёвочную петлю на дверке – она заменяла ручку.

– Помилуй, Матвей Петрович! Допусти!.. – закричал Бибииков.

Бабы оглядывались на обер-коменданта, бегущего за возком. Дверка возка распахнулась – это Матвей Петрович толкнул её ногой. Карп Изотыч, пыхтя, ввалился в тесный коробок и сразу бухнулся на колени, ухватившись за шубу Гагарина. Матвей Петрович даже отодвинулся в угол от удивления.

– Прости, Матвей Петрович! Не губи! Пусти на службу обратно! – взмолился Карп Изотыч. – Кормиться нечем! Могила!..

– Мало, что ли, наворовал? – хмыкнул Гагарин.

– Ругай меня, дурака! – Карп Изотыч в отчаянье потряс головой. – Ругай! Только не гони от места, пропаду! Богом клянусь, ни на шаг от твоей воли не отступлю, ни в чём от меня отказа знать не будешь!

– Экую аллилуйю ты грянул, Карпушка, – проворчал Гагарин.

Карп Изотыч наклонился, благоговейно поцеловал Матвею Петровичу руку и по-собачьи преданно посмотрел на губернатора снизу вверх. Он понял, почему Гагарин его прогнал.

– А тот Юрка Бибииков, который над тобой в Нерчинске следствие вёл, мне и не родня почти, седьмая вода на киселе! – проникновенно сказал он. – Я его и знать не знаю! Ты мне отец!

Глава 12

Царь в гостях

По твёрдой зимней дороге Матвей Петрович добрался до Петербурга за пять недель. Несколько дней отдыхал, затем вызвал своего губернского комиссара и пошёл с отчётом о губернии в Управительный Сенат. Впрочем, важнее Сената был приватный разговор с государем, но Матвей Петрович никак не мог застать Петра одного: то он был в Адмиралтействе, то в полку, то принимал послов, то пьянствовал с какими-то голландскими шкиперами. И вдруг государь сам заявился к Гагарину, точнее, решил пожить пару дней в его доме. Уже заполночь перепуганный лакей Капитон поднял Матвея Петровича с постели: денщики бесцеремонно затаскивали в сени сундуки с платьем, походную кровать и токарный станок Петра Алексеевича. Матвей Петрович выбежал, в чём спал, – в татарском халате. Пётр, дыша перегаром, грубо поцеловал Гагарина в щёку и сказал, что поселится в зале, где висит картина «Бой галеона “Сан-Мартин” у Гравлина»; пусть Матвей Петрович пришлёт туда графин водки на смородине. Собеседника государь не пожелал.

У Петра в Петербурге имелось несколько жилищ: и самый первый голландский домик за крепостью – крытый гонтом и с-mortирой на крыше; и пара увеселительных домиков на Петровском острове; и Свадебные палаты, подаренные царю Меншиковым. Зодчий Доменик Трезинь воздвиг для царя два дворца: летний, который поменьше, – на Безымянном Ерике, и зимний, который побольше и с мезониной, – на Неве. Но зимой Пётр предпочитал селиться у своих вельмож, порой даже не предупреждая о себе.

Он занимал залу, которая ему приглянулась, ставил матросскую койку и токарный станок, ел, пил, встречал гостей или, заперев дверь, работал. В соседние покои заезжали его денщики и секретари, в сенях сидел караул из преображенцев, у крыльца мёрзли в санках вестовые и неизменная толпа посетителей в крытых возках. Пётр жил, пока ему не наскучит, а потом так же внезапно убирался, оставляя после себя кучи опила на паркете, объедки, бутылки и невымытую посуду, залитые чернилами столы, прожжённые табаком диваны и сорванные занавеси, о которые он вытирал грязные руки.

Матвей Петрович знал, что Пётр спит мало – досыпает недостающее днём после обеда, – и велел разбудить себя пораньше. Вместе с Матвеем Петровичем, охая, встала и Евдокия Степановна, жена. Матвей Петрович отправил лакея Капитона к денщикам и секретарям караулить царя и велел слугам растолкать сына Алексея: не дело ему дрыхнуть, когда в доме гостит государь. Гагарины сели завтракать, но не откидным творогом и оладьями на меду, как обычно, а горьким кофеом с маковыми баранками, как любил Пётр.

Грузная Евдокия Степановна расположилась на кушетке, чтобы не сломать фижмы. Она была в домашнем платье-робе и без корсета, но роба и так натягивалась на талии. Голову Евдокия Степановна покрыла чепцом.

– Пакость эта кофия, – со вздохом сказала Евдокия Степановна. – А баранки хороши. Надо Матрёшке велеть ещё пару снизок наделать.

Матвей Петрович оделся по-рабочему: камзол, кафтан, короткие портки и чулки. Парик Матвей Петрович напяливать не стал, а то государь догадается, что Гагарин вырядился намеренно для него, а сам по себе, видно, ходит по дому в дедовском армяке. Лёшка тоже выполз в камзоле и кюлотах. Его длинные волосы были собраны сзади в косичку, заплетённую явно ещё позавчера. Лёшка с кислой мордой сел в кресло-корытце, выпил кофий, вытащил откуда-то мандолину и, глядя на пальцы, принялся щипать струны.

– Ты опять похмельный? – строго спросил Матвей Петрович у сына. – Чего творишь, Лёшка?

– Ничего не творю, – буркнул Алексей, не поднимая головы.

Матвей Петрович хмурился, как положено отцу, но в глубине души сочувствовал Лёшке, понимал все его мальчишеские порывы.

– Где пили-то?

– В кабаке за Адмиралтейством.

– Ты князь или голландский матрос?

– Царь тоже в голландского матроса рядится.

– С царя-то в другом пример брать надо. А я в твои годы служил!

– Служили, ага, – Лёшка шмыгнул носом. – Мне дядька-то Василий всё рассказывал. Вы тоже, батюшка, беса тешили и куролесили.

– Я куролесил в Иркутске и Нерчинске, и о том никто не знал – Сибирь покрывала. И домой сто двадцать возов добра оттуда привёз!

– Врёшь ты, отец, – сказала Евдокия Степановна. – Тебе в Сибире за тридцать годов уже было, а Лёшеньке всего семнадцать.

Откинув портьеру, в гостиную вступил лакей Евдокии Степановны.

– Графиня Дарья Матвеевна Головкина с графом Гаврил-Иванычем! – объявил он, выпячивая грудь.

Дарья была дочерью Гагариных, а граф Гаврил-Иваныч – внуком. Дарья была замужем за Ваней Головкиным, сыном графа Гавриила Ивановича, государственного канцлера. Гаврил-Иванычу младшему исполнился годик. Пухлая, бойкая Дашка ворвалась в гостиную, гремя замёрзшими юбками. Нянька внесла ребёнка. С Матвея Петровича при виде внука слетела вся суровость, лицо его распустилось, губы сами собою сложились уточкой.

– А что это у нас за граф такой важный явился? – засюсюкал он, забирая Гаврюшу на руки. – Митька! – через плечо крикнул он слуге. – Принеси мне тележку Гаврюшкину! – Матвей Петрович с наслаждением поцеловал внука. – А кто это у нас в карете сейчас кататься будет, а? Граф Гаврюшка будет! Ух, у него дед какой резвый жеребец!

– Не ушибите дитё, батюшка, – важно сказала Дашка.

– Не учи! Всех вас нянчил, никого не зашиб!

Высокие окна в гостиной Гагариных были из квадратиков дорогого венецианского стекла, собранных в деревянных рамах. Над Петербургом разгоралась заря, и окна нежно порозовели сквозь толстый иней. Алексей тренькал на мандолине, ожидая, когда его отпустят. Евдокия Степановна и Дашка на кушетке играли в карты. Лакеи прибирали на столе и гасили свечи. Матвей Петрович возился с внуком: покатал его на тележке за верёвочку, потом посадил себе на колени и принялся потряхивать, держа за ручонки.

– По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам, в ямку – бух! Раздавили сорок мух! – приговаривал Матвей Петрович и ронял смеющегося Гаврюшку на спину.

– Вот какая ты негодница, Дашка! – в сердцах воскликнула Евдокия Степановна, бросая карты. – Родную- то матушку обжуливать!

Матвей Петрович усмехался, поглядывая на жену и дочь. Ему нравилась простодушная хитрость Дашки, унаследованная, конечно, от Евдокии Степановны, нравилось и то, что Дашка, похоже, будет толстой, как мать.

Портьера отодвинулась, и появилась испуганная физиономия Капитона.

– Госу!.. – прошептал он и исчез, отдёргнутый Петром за шиворот.

Пётр тоже был без парика, в домашнем засаленном шлафроке, с платком на шее, в разношенных башмаках. Слуги сразу низко склонились перед царём, Гагарины тоже вскочили и поклонились.

– Худэ морхен! – весело сказал Пётр по-голландски.

Нянька бросилась к Матвею Петровичу, взяла из его рук ребёнка и бесшумно убежала из гостиной. Слуги тоже попятнулись в дверь. Пётр озирает гостиную Гагариных, поправляя

усы. Фряжская мебель на львиных лапах, камин закрыт китайской ширмой, зеркала, лепнина, канделябры.

– Видел я, у твоего лакея, Петрович, морда исцарапана, – сказал Пётр, опускаясь в кресло. – Никак, ночью впотьмах бороду спиливал?

– Ежедень броемся, – соврал Матвей Петрович.

– Да садитесь же вы, – махнул рукой Пётр. – Ваш дом.

– Кофию государю! – крикнул Матвей Петрович.

– Как, Петрович, жизнь сибирская?

Пётр был на двенадцать лет моложе князя и звал его по отчеству.

– Работаем, – с достоинством сказал Матвей Петрович.

– Читал твой экстракт в Сенате. Хвалю. Когда плата за соболей будет?

– Пушные обозы на прошлой неделе должны были прибыть в Варшаву. Ожидаю, к Благовещенью деньги вернутся.

Сибирский приказ, которым руководил Гагарин, сам собирал в Сибири пушную казну и сам продавал меха в Европе, а в казну шли уже деньги.

– Долго! – Пётр дёрнул ногой. – А китайский караван чего?

– За него получилось сорок две тысячи рублей, кошель с печатью я уже снёс Лексей Василичу Макарову, твоему секретарю. А в Посольский приказ сдал девяносто пять тысяч за казённый груз.

– Мало.

– Оно, считай, караван восьмого года, пока я этим делом не заботился, – пояснил Матвей Петрович. – А я китайский доход утрую.

– Кто караван водил?

– Михайла Гусятников.

– Знаю его. Не вор.

С китайскими караванами Пётр отправлял и свои личные товары – ситец, моржовый клык из Архангельска и пушнину. На самом деле Михайла Гусятников продал царский груз только за тридцать семь тысяч – дороже китайцы не давали, и Матвей Петрович добавил в царскую прибыль из своего кармана, чтобы государь был доволен и считал себя умелым негоциантом. Ежели царь доволен, то не полезет разбираться в деле, в котором у Матвея Петровича был собственный особый порядок и интерес.

Вошёл денщик Петра; в одной руке он нёс кувшин с кофеем, в другой руке – оловянную шкиперскую кружку с отчеканенным британским львом. Кружку и кувшин денщик поставил на стол рядом с государем. Пётр налил себе кофию, плеснув на скатерть, и шумно, как лошадь, отхлебнул.

– Ты их бьёшь, что ли? – спросил Пётр, кивая на дочь и жену Гагарина.

Евдокия Степановна и Дашка неподвижно сидели на кушетке, словно куклы, и испуганно таращились на царя.

– А надо? – неуверенно спросил Матвей Петрович.

Пётр, дурачась, вдруг по-собачьи гавкнул на Дашку и Евдокию Степановну – они обе одинаково вздрогнули. Пётр захохотал.

– Да не бойтесь вы, – благодушно сказал он. – Чего делали до меня?

– В картёшки играли, батюшка, – робко сказала Евдокия Степановна.

– На деньги?

– Просто так. «Сундучок» игра называется.

– Ну и дальше играйте.

Евдокия Степановна послушно взяла в руки карты.

– Кто хоромы строил, Петрович? – рассматривая лепнину, спросил Пётр.

– Ванька Фонтана, итальянин.

– А чего дворец не каменный? У Яшки Брюса, у Вейде, у Кикина с Сашкой Меншиковым уже каменные, а вы всё как в Москве хоромы ладите.

– Так тебе не угодить, Пётр Алексеич, – сказал Гагарин. Он знал, что царь любит, когда ему иной раз дерзят. – Построишь чего, а ты по тому месту першпективу или канал проведёшь, и домину на слом. Жалко трудов. Князь Репнин вон как ревел, когда ты его терем порушил.

Пётр снисходительно хмыкнул.

Из-за портьера на входе выглянул вестовой и показал письмо с печатью.

– Рожу уברי! – грозно крикнул Пётр. – У меня конфиденция!

Вестовой спрятался.

– Это сын твой? – Пётр кивнул на Лёшку, тихо сидевшего в углу.

Лёшка сразу встал и поклонился.

– Младший мой, князь Алексей Матвейч, – подсказал Гагарин.

– Где я тебя видел? – задумался Пётр. Ощущения от этого парня у него были какие-то нехорошие. И тут он вспомнил, и от давнего гнева стиснул в ладони оловянную кружку. – Точно, ты с моим Лёшкой безобразничал!

Алексей Гагарин молчал. Матвей Петрович сразу понял, что дело худо.

– Осенью, когда навигацию закрывали, попойка была. Мой недоросль со своими дружками там буйство учинил! – Пётр вперил взгляд в понурого Алексея. – Два Лёшки озоровали – он да ты, и два Сашки – Долгоруков да Головкин. Вы сажей перемазались, чтоб вас не узнали, на Адмиралтейской стороне окна били, орали, как припадочные, карету в щепы разнесли...

– Прости, государь, дитя он ещё! – всполошилась Евдокия Степановна.

– Дитя? – усы у Петра оцетинились. – Дитё учить надо. Пошлю-ка я тебя в Гамбург на пенсион мореходство и коммерцию осваивать.

– Не губи меня! – Евдокия Степановна истово перекрестилась.

– Чем это я тебя гублю? У тебя и отец жив, и муж.

Хорошее настроение царя улетучилось. Сын Алексей всегда раздражал Петра своей ничемностью, а пьяные выходки сына приводили в бешенство.

– Отец на Вятке воеводит, муж в Сибири! Алёшенька один мне опора!

– А брат у Петровича? – царь посмотрел на Гагарина-старшего. – Василий, да? Ты с ним Тверецкий канал строил.

– Василий мне двоюродный, он помер тому уже три года, – печально сообщил князь Гагарин. – А Иван, родной брат, ещё раньше помер.

Вид у Матвея Петровича стал смиренный и скорбный, Гагарин достал большой платок и промокнул глаза – якобы от слёз по брату, но в уме Матвей Петрович лихорадочно соображал, как вернуть весёлость Петра. Царь – бич божий, ему Лёшку на всю жизнь наказать – раз плюнуть. Матвей Петрович перепугался за сына, такого тощенького, строптивного, беззащитного...

Пётр вскочил, шагнул к стоящему Алексею, ладонью отвёл ему со лба волосы, высыпавшиеся из перевязки косицы, и начал разглядывать лицо. Алексей запрокинул голову, глядя в страшные совиные глаза государя.

– Дурак он, – сделал вывод Пётр.

– Дозволь отлучиться, – тяжело дыша, тихо попросил Матвей Петрович.

– Заодно водки мне принеси.

Матвей Петрович, утираясь платком, быстро вышел.

Пётр повалился обратно в кресло, закинул ногу на ногу и нервно качал носком башмака. Алексей Гагарин по-прежнему стоял, будто на суде.

– Может, женить его, мать? – спросил Пётр у Евдокии Степановны. О чём ещё ему с бабой-то говорить? – Женатый образумится.

– Добро бы, государь! – слезливо обрадовалась Евдокия Степановна.

– У Петьки Шафирова баронеска на выданье.

– Не хочу на жидовке, – глухо пробурчал Лёшка.

Лицо у Петра пошло багровыми пятнами.

– Да жидовки-то, Лёшенька, поумнее наших русских акул! – пылко набросилась на сына Евдокия Степановна.

Пётр взорвался бы, но тут вовремя вернулся Матвей Петрович. Он нёс ларец Касыма. В Тобольске Матвей Петрович и не думал отдавать золото курганов царю, однако сейчас надо было спасать непутёвого Лёшку. Матвей Петрович с поклоном поставил ларец на низенький столик возле Петра.

– Вот привёз тебе забаву из Сибири, – скромно сказал Гагарин.

Пётр пренебрежительно откинул крышку ларца пальцем и выпрямился.

– Ох ты! – изумлённо сказал он.

Он сунул ручищу в ларец и вытащил в горсти три золотые бляхи.

– Откуда сии куриозы?

– Из курганов по Тоболу.

– Погоди!

Пётр вскочил и быстрым шагом выбежал из гостиной.

– Куда он? – шёпотом спросила Евдокия Степановна.

– Балда ты! – отчаянно, но почти беззвучно крикнул Матвей Петрович сыну, не обращая внимания на жену. – Почто с царевичем дружишь?

– Царевич царём будет, – непокорно ответил Алексей.

– Вот когда будет, тогда и дружи! Убирайся, Лёшка, отсюда от греха подальше! Дашка, и ты убирайся!

Пётр вернулся с большим увеличительным стеклом в медной оправе. Он и не заметил, что дети Гагарина исчезли из гостиной. Пётр высыпал на стол содержимое ларца и склонился над золотом, рассматривая его через лупу.

– Тигр, а это олень, а это волк грызёт коня... – бормотал Пётр. – Мне, слышь, такие диковины в первый раз показывал амстердамский бургомистр Витзен, у него их целое бюро с ящичками... А потом я подобные видал в Дрездене и Вене в кунсткамерах... Это ремесло древних скифов!

– Теперь и у тебя есть, – сзади подсказал Гагарин.

– И много в Сибири курганов с кладами?

– Брешут, что тысячи.

– Ну, порадовал, Петрович! – Пётр взял в ладонь бляху с орлом, который нёс в когтях извивающегося змея, сел в кресло и продолжил внимательно изучать диковину через увеличительное стекло.

– Сразу указываю тебе: рассылай артели, пусть бугруют курганы.

– Мужики и так уже копают, – сказал Матвей Петрович.

– Мужичью бугрывать запрети! Объяви, что руки рубить будешь! Я указ издам! Для сиволапых это просто куски золота, молотками расплющат!

– А ежели кто уже нашёл или купил?

– Пусть продают тебе или в казённые аптеки. Плати щедро!

Царь был поглощён своим новым сокровищем. Матвей Петрович тихо перекрестился и в облегчении присел на кушетку рядышком с женой.

– Ну, обнадёжил, Гагарин! – с чувством сказал Пётр. – Давай-давай-давай, носом рой, ещё найди, хочу!

Глава 13

Вор у вора

Агапон Иваныч Толбузин, берёзовский воевода – а по-нынешнему комендант, – брэнчал костяшками, закрыв расписной деревянный стаканчик толстой ладонью. Играли по-простому, по старинке – в «чёрное-белое».

– Ставлю крещатую лису, – объявил он. – Отвечай, Карпушка.

– Ну, трёх бобров и три песцовых хвоста, – сказал Бибиков.

– Мало, – Толбузин продолжал трясти стаканчик. – В этом году песцы не в цене. У меня под Обдорском их развелось как крыс в амбаре.

– Ладно, – покладисто кивнул Бибиков. – Вместо них голубую недокунь.

Карп Изотыч Бибиков, обер-комендант Тобольска, знал о пушнине, мягкой рухляди, куда больше воеводы из далёкого Берёзова. Этой зимой на ярмарке туруханская недокунь пойдёт всего-то за четыре собольих пупка, а цену на бобров уронят промышленные с Тунгуски, они какую-то бобровую реку нашли. Но слухи об этом наверняка ещё не добрались до низовий Оби, и Агапоша Толбузин не понимает, что принимает ставку себе в убыток.

– Зернить будем на три кона, Карпушка.

– Идёт, Агапоша. Тряси.

Толбузин ещё потряс стаканчик и опрокинул над столом. Воеводы склонились, разглядывая крупные сливовые косточки, покрашенные на одну сторону известью, на другую – чернилами.

– Чёт-нечёт, – сказал Толбузин.

Игру в зернь государь запретил, но в торговых банях законы были свои. Торговые бани Тобольска стояли отдельной дикой слободкой за ямскими дворами на берегу Иртыша. Узкие изогнутые улочки летом были залиты зловонными лужами – это из бань выплёскивали мыльную воду; зимой лужи замерзали грязными ледяными буграми. Бурьян, свалки, проулки, тупички, калитки. К банным срубам были пристроены тайные зерновые горницы. Бани и горницы теснились вперемешку с лабазами, погребами, дровяными сараями, конюшнями и хибарами, где жили работники, давно потерявшие стыд и совесть. Раздвинув беспорядочную застройку, нагло выселились резные терема богатых хозяев – ссыльного стрельца Бердея, мамыши Матрёны, жадного старого хрыча Панхария, татарина Усфазана, бывшего дьяка Авдея Рукавицына. Торговые бани дымили трубами день и ночь, над прелыми ветхими кровлями клубился пар, смердели мыловаренные котлы. Водовозы везли с Иртыша разбухшие и вечно подтекающие бочки. Шоркали пилы работников и стучали топоры – банные печи пожирали горы дров.

Добрые люди сюда старались не ходить. Только малые дети верили, будто баня нужна, чтобы помыться. Здесь метали зернь и шлёпали по столам краплёными картами. Здесь расплачивались медяками воровского чекана. Здесь прятали и продавали краденое. Корчёмщики тайком везли сюда водку и брагу. Богатый мельник мог найти себе на ночь дородную боярыньку, а парни из служилых вскладчину покупали гулящих девок. Купцы при свете лучин уговаривались о том, о чём не сговориться на Гостином дворе с его доглядчиками и приказчиками: о беспошлинной соли, пушнине и порохе. Здесь можно было найти лихого человека с кистенём, согласного на любое дело, или бродячего колдуна, продавшего душу дьяволу. Здесь укрывались беглые. В убогих домишках ютилась всякая рвань и вышедшие из неволи инородцы, от холопства утратившие навык честной жизни в лесах, – эти опустившиеся люди батрачили на банных владык за обноски и объедки. Пьяных отсюда вывозили на дровнях и бросали у паперти ближайшего храма. Порядок в слободке охраняли мордвороты с дубинками, которых содержали банщики, но бывало, что поутру в заулках находили зарезанных гуляк. Тобольские ямщики за дорогу в торговые бани брали двойную цену.

Карп Изотыч Бибиков встречался с берёзовским комендантом в бане Остафия Бердяя – московского стрельца, ещё при воеводе Салтыкове сосланного в Тобольск за грабёж. Бибиков доверял Бердяю: не донесёт. В предбаннике стояли стол и лавки, кадушка с водой и два витых железных светца с лучинами. Пахло вениками и древесиной. В приоткрытое волоковое окошко с уличного декабрьского мороза клубами валил белый пар.

Бибиков и Толбузин, распаренные и мокрые, сидели за столом в одних исподних рубахах и угощались хозяйской настойкой на калине, разливая по рюмкам из дорогой бутылки зелёного стекла. Закусывали квашеной капустой, солёными грибами, пирожками с деревянного блюда и свежей морошкой. Толбузин пихал капусту в пасть целыми горстями, капуста блестела в его окладистой бороде. Он то и дело толкал стол огромным брюхом, и всё было залито квасом, который плескался из кувшина и кружек. Бибиков щепоткой по-бабьи щипал морошку.

– Как таможня, Карпушка? – спросил Толбузин.

– Глухо, Агапошенька. Гагарин своего надзирателя посадил, цепного пса. Теперь через Верхотурье нам дорога закрыта.

– Не берёт?

– Не берёт, – тяжело вздохнул Бибиков. Его маленький носик-пуговка блестел, бровки сложились домиком, а маленький ротик алел, как у девушки.

Старинный и обширный дворянский род Бибиковых прочно врос в Сибирь многими воеводами, большими и меньшими, и никто из них не уехал домой восвояси с пустыми карманами. И Карп Изотыч тоже был опытным и ловким служакой, хотя как-то сумел сохранить девичью трепетность. Он начал службу младшим дьяком при воеводах Нарышкине и Бухвостове, а могущественный Михаил Яковлевич Черкасский назначил его старшим дьяком. С Черкасским Карп Изотыч жил душа в душу. Перед отъездом князь произвёл Бибикова в обер-коменданты – сделал начальником Тобольска и тобольского разряда. Пока князь Гагарин, новый губернатор, был занят в Москве, Бибиков управлял всей губернией. Это были лучшие годы. Сын Карпа Изотыча даже затеял строить новый дворец в имении под Новгородом. Но вот явился Гагарин, и прежний порядок посыпался.

– А ежели по закону провезти – дорого встанет? – спросил Толбузин.

Агапон Иваныч отправлял свои сорока с обозами Бибикова. Сам он был тупым и грубым и никак не сумел бы наладить сбыт того, что наворовал. Но под его воеводской рукой были бескрайние, кипящие пушшиной пажити Оби – от устья Иртыша до полуночных развалин Мангазеи, и Агапон Иваныч брал столько, что Карп Изотыч не мог с ним не дружить.

– По закону совсем нельзя. Можно только купцам гостинодворским, у которых казённая марка на рухлядь куплена.

– Наймём такого дурня.

– Без прибыли будет, Агапоша. На Гостином дворе пошлина – глаза выпучивает. Купец третью долю себе отгребёт. Таможня десятину снимет. Что нам останется? От каждого сорока – семь штук. Страсти господни.

С деревянным ведром в руке в баню вошёл Аниска, холоп стрельца Бердяя, долил воды в кадушку и замычал, указывая пальцем на окошко. У Аниски был урезан язык.

– Закрой, голубчик, закрой, – согласился Бибиков.

Аниска заволок окошко, поменял догорающую лучину и вышел.

– Ну, тогда надо везти по твоему тайному тракту, – Толбузин опять разлил настойку. – В объезд таможни через Невьянскую слободу.

– Тайный тракт, Агапоша, как измена государю, – назидательно сказал Бибиков. – Поймают на нём мой обоз – Гагарин и тебя, и меня повесит.

– Не бывало такого, чтобы воевод за беспошлинную рухлядь вешали!

Толбузин буровил Бибикова гневным взглядом. Рожа у Агапона Иваныча была тяжёлая, как из теста, оплывшая брюзгливыми складками.

Сибирских воевод и вправду за воровство почти не наказывали. Царю, Боярской думе или Сибирскому приказу важно было, чтобы поток пушнины из Сибири не ослабевал, а что там творят воеводы в своей дремучей глуши, сколько воруют, – плевать. Лишь бы инородцы или служилые не бунтовали, потому что бунтовщики не платят подати. За холопский бунт воеводу отзывали со службы, будто кота за хвост вытаскивали из бочки с рыбой.

– Мы с тобой теперь не воеводы, а коменданты, – печально вздохнул Бибиков, снова пощипывая морошку. – Стали мы людьми маленькими. А губернатору ныне всё дозволено. Повесит, и покаяться не успеешь.

Толбузин мрачно стиснул в большой ладони стаканчик с костями и принялся трясти, словно вытрясал душу из Гагарина.

– Даю подскору и пёструю рысь, – пробурчал он.

– На красных белок приму, – легко согласился Бибиков.

Толбузин высыпал на стол кости и, сопя, наклонился посмотреть.

– Моё! – с удовлетворением заявил он.

Против хорошего меха белки шли десятками и сотнями. Но Толбузин и не размышлял, зачем ему эти груды дешёвой пушнины, если и ценную-то некуда девать. Агапон Иваныч брал всегда с размахом, без сытости, как волк, который режет всё стадо, хотя унесёт только одну овцу. Агапон Иваныч ревниво считал себя природным князем, хотя его род давным-давно утерял княжеское звание. Далёкий Берёзов был хорош Толбузину тем, что он жил здесь как князь: обирал и холопил инородцев, притеснял посадских, судил, любил пороть баб кнутом, а служилым позволял грабить. Толбузин был уверен, что в Берёзове начальство ему не указ. Самоуправство и воровство для Агапона Иваныча было эдаким княжением. А мягкому сердцем Бибикову хищность воеводы казалась недугом, и Карп Изотыч жалел товарища.

– Карпушка, у меня сундуки от соболей трещат, – с угрозой сообщил Толбузин. – Мне надо товар на Москву спровадить. Ежели боишься обоз по тайному тракту от себя пустить, дай мне своего провожатого.

Карп Изотыч и сам слёзно страдал от того, что пушнина застряла в амбарах Тобольска. Начальство всегда ценило дьяка Карпушу Бибикова за рачительность. Бибиков был бережливым, как старичок: доедал обгорелые до угля корки хлеба, подбирал на улице рваные тряпки, подмешивал скотине в сено запаренную солому, а истоптанные до дыр башмаки не выбрасывал, а относил на паперть. Начальство изумилось бы ловкости, с которой робкий дьяк Карпуша уводил пушнину из казны – по чуть-чуть из разных статей: давал приказчикам заниженную цену и забирал избыток, находил изъяны и отсеивал как незачтённое в урок, записывал в поруху от мышей. Мало-помалу, а получалось много. Карп Изотыч не считал это мошенством. Он строго соблюдал казённый интерес, а то, что можно украсть, казалось ему незащищённым и потому потерянными: это был пустопорожный расход от неупотребления. Карп Изотыч просто восстанавливал порядок – всё одно ведь пропадёт: растрясут разины, приказная шпынь растащит при оказиях.

– Провожатого-то дам, Агапоша, – сказал Бибиков, – но за третью долю.

– Ну ты и змей, Карпушка! – обозлился Толбузин. – Спусти до четверти!

– Не могу, Агапошенька, – сердечно признался Бибиков. – Не могу. Треть давай, иначе не осмелею.

Там, в полутёмной бане Бердяя, берёзовский комендант и тобольский обер-комендант уговорились на воровской обоз и хлопнули по рукам.

Через месяц обоз вышел в путь. Тайный тракт в обход Верхотурской таможни на самом деле не был страшной заклётой тайной. От Тобольска возчики ехали в Тюмень, потом вверх по Туре до устья реки Ницы, вверх по Нице – до ярмарочной Ирбитской слободы. От Ирбита обозы двигались на Невьянский острог, и лишь за ним начинались места, где пути были известны только тем, кому можно доверять: дальше простиралось мрачное божелесье – запо-

ведная тайга раскольничьих Весёлых гор. Здесь укрывались скиты с подземными молельнями и кондовые деревни. Царские дозоры не совались сюда с переписями – незваных гостей перебыют и похоронят, где и бог не сыщет. Селения староверов были связаны друг с другом едва заметными нитями безлюдных проторей, отмеченных лишь крестами с кровлями. Чтобы проскользнуть по глухим распадкам Весёлых гор и добраться до торгового города Кунгура, хозяева сибирских обозов кланялись старцам Невьянска и платили «потревожную ругу», но не всякого купца допускали до старцев. А от Кунгура наезженный большак уже спокойно бежал к Соликамску, где обозы снова вливались в общее движение Государева Сибирского тракта.

Бибиков и Толбузин снарядили в Тобольске обоз из шести крепких саней с шестью надёжными возчиками. На пяти санях стояли большие короба с пушшиной, прочно обмотанные лыковыми верёвками, на шестых санях возчики везли свой дорожный скарб. Обоз быстро докатился до Тюмени, по замёрзшим болотам привычно обогнул город с его таможней и ехал дальше по ледяной дороге Туры. Незадолго до Туринской слободы возчики должны были свернуть на реку Ницу – к Ирбиту.

Лошадки неторопливо бежали по ледовому тракту Туры, сани свистели полозьями. Тракт был обозначен маленькими ёлочками, воткнутыми в снег, чтобы путь был виден и ночью. По берегам клубилась спутанная заиндевелая кудель синего тальника, из которой вразнойой мощно вздымались высокие, зауженные морозом ели – ярусы снежных юбок. Голодная январская тишина словно бы выжидала в засаде, сцепив зубы, чтобы из непролазной урёмы наброситься людям на спины. Стучал дятел. Широкое сизое небо в мгlistой глубине было пропитано жидким жёлтым свечением.

– Эй! Эй! Дорогу! – раздалось на реке.

Обоз нагонял отряд из десятка всадников. Это были татары в стёганных зимних халатах, в меховых ичигах и волчьих малахаях. За плечами у них торчали стволы ружей. Из-под копыт коней летели комья снега.

– Посторонись, – приказал своему обозу артельный.

Обоз сдвинулся к сугробу обочины. Татары быстро догнали обоз.

– Толбузы товар? – белозубо улыбаясь, спросил с коня татарин-есаул.

Артельный даже не успел сообразить, откуда случайный татарин знает хозяина тайного груза.

– Ачу! – крикнул есаул.

Татары легко сбрасывали с плеч ружья и целились в возчиков.

– Ты чего? – обомлел артельный.

Выстрелы взорвали тишину лесов. В еловой чаще заметалась птица. Удары крупных пуль друг за другом валили возчиков на дорогу. Всё это было так просто и так неожиданно, что никто и не вскрикнул, не попытался выхватить из-под рогожи на санях заготовленный пистолет. Артельный в изумлении взмахнул руками, из чёрной дыры на груди его тулупа вылетели дымящиеся клочья овчины. Лошади вздрагивали, напуганные грохотом, и пугливо косились, но стояли смиренно, как женщины.

Сронив шапки и остро задрав бороды, возчики неподвижно лежали возле своих саней на колеях ледовой дороги. Несколько татар спрыгнули с сёдел и принялись ворочать убитых – вдруг кто-то ещё жив?

– Они все мертвы, Сайфутдин, – по-татарски сказал есаулу один из спешившихся. – Добивать никого не надо.

– Кровь натекла?

– У одного.

– Нельзя, чтобы на льду увидели кровь. Ходжа Касым приказал не оставлять следов, – есаул Сайфутдин посмотрел по сторонам, не показался ли какой другой обоз. – Соскобли кровь ножом, Хабиль.

– Я сделаю, мой господин, – кивнул Хабиль.

– Берите лошадей под уздцы, и мы быстро уходим отсюда дальше, в Ирбит, – приказал Сайфутдин своим людям. – Теперь это наш товар. В смерти этих несчастных мы не виноваты, в ней виноват жадный Толбуза.

Ирбитская ярмарка начиналась через полторы недели. Торжище в Ирбите всегда соперничало с пушным базаром на тобольском Гостином дворе. В Ирбит обязательно приедут бухарцы, которым нет никакого дела до печати Верхотурской таможни, – они-то и купят захваченную пушнину берёзовского воеводы. Караванный путь из Бухары в Ирбит назывался Канифа-Юлы. Ходжа Касым знал, как взять и как сдать опасный товар.

– Хабиль и Нуриман, вы должны остаться здесь, пробить прорубь и скорее сбросить в неё тела убитых, – распорядился Сайфутдин, удерживая танцующего от холода коня. – Потом возвращайтесь в Тобольск и передайте Ходже Касыму: верный Сайфутдин исполнил всё, что велел Ходжа.

Глава 14

Прореха Мазепы

Иоанн, митрополит Тобольский и Сибирский, стоя на коленях, молился перед образом Богоматери. Многоиконный киот занимал весь угол в келье митрополита, в полумраке он мерцал лампадами, ризами и бисером, но образ Богоматери словно бы сам тоже источал свет, подобно открытому окошку. Эту икону Иоанн привёз из Чернигова. Кондовая Сибирь такой красоты не ведала. В Сибири иконы писали по-строгановски, будто выкладывали из смальты: празднично-пёстро, сложно, строго, мелко и дробно. Затейливый рисунок выводили тонкой тёмной кистью и высветляли тяжёлым золотом, и потому не ощущалось в образах воздуха и простора, хотя искусные богомазы изображали рощи и каменные горки, а на клеймах – многолюдные действия. Черниговская же Богоматерь была не такая. Вот она – в лазоревом убрусе, в короне и со младенчиком на левой руке: ликом свежая, нежная, жизненная, и вся икона – волнительная, плавно-песенная, в радостном умилении.

Иоанн положил последний поклон, кряхтя, поднялся на ноги и взял посох. Сводчатая келья казалась бедной: топчан с тощей подушкой, лавка, поставец с книгами, сундук и стол, на котором подсвечник, оловянная кружка с водой, чернильница и бумаги. В глубокой печуре блесло дорогим бухарским стеклом маленькое оконце. Шаркая ногами, Иоанн пошёл к двери.

Филофей ждал митрополита в трапезной архиерейского дома, стоял возле открытого окна и глядел на улицу. Там сиял апрель. Влажное синее небо всей божьей силой взлетало ввысь столбами невидимого света; по-рыбьи серебрились обтаявшие от снега гребни тесовых кровель и лемеховые купола святой Софии; башни Софийского двора, будто бочки, распирало белизной; почернели тропинки меж осевших сугробов, и повсюду играли огни: искры солнца в ледяных сосульках, зернистый блеск наста, райские отражения в лужах и в двух вёдрах, которые старый монах нёс через двор на коромысле.

– Владыче! – улыбнулся Филофей, увидев Иоанна, и склонил голову, ожидая благословения.

– Отче! – ответил Иоанн, благословляя Филофея, и они обнялись.

Они были знакомы очень давно, ещё с Малороссии, с Киева. Вместе четыре года учились в коллегииуме митрополита Петра Могилы в Киево-Братской обители, а потом не раз встречались на служениях: сменяли друг друга экономами в Лавре и настоятелями Свенского монастыря в Брянске, даже смеялись: «Ванька дома, Маньки нет; Манька дома, Ваньки нет».

– Вот теперь и Ванька дома, и Манька, – сказал Филофей. – Присядем?

Иоанн и Филофей уже встречались в Сибири – прошлым летом, когда Иоанн, только что возведённый в митрополиты, ехал из Москвы в Тобольск и на два дня остановился в Тюмени в Преображенском монастыре. А ныне Филофей сам прибыл к митрополиту на Софийский двор.

– Как телесное здоровье твоё? – заботливо спросил Иоанн.

– С божьей помощью.

– Я ведь тоже лет пять назад в Чернигове чуть не преставился, – сказал Иоанн. – Лежал в горячке в полном расслаблении. Никто помочь не мог. И я молить начал – знаешь, кого?

– Кого?

– Феодосия.

Черниговский архиепископ Феодосий всегда благоволил к иеромонаху Иоанну. Перед смертью он вызвал Иоанна из Брянска, из Свенской обители, и назначил настоятелем Елецкого монастыря в Чернигове. Все понимали, что Феодосий видит в Иоанне преемника. А черниговская кафедра на Украине была, может, важнее киевской, потому что окормляла сечевиков-запорожцев – непокорную гетманщину. После кончины Феодосия сам гетман Мазепа просил царя и патриарха Адриана о посвящении Иоанна в архиепископы.

– Феодосий ко мне во сне пришёл и повелел отслужить литургию, тогда, мол, исцелишься. Наутро я еле собрал себя, но приплёлся в храм. И веришь – прямо на службе с меня немочь как вода стекла.

– Хороший был человек Феодосий, – задумчиво сказал Филофей.

– Святой муж, – убеждённо заявил Иоанн.

– А правду говорят, владыка, что ты Черниговскую кафедру потерял, потому что поссорился с самим светлейшим? – спросил Филофей.

– Правду, – неохотно подтвердил Иоанн.

В полтавской баталии конница князя Меншикова атаковала шведов и расстроила их наступление – Меншиков спас всё дело. За это после битвы государь повелел гетману Скоропадскому выделить светлейшему имения в Почепской волости на Стародубщине. А в одном из тех имений достраивался храм. Престольным праздником ему наметили Благовещение. Архиепископ Иоанн должен был проводить освящение. Меншиков хотел присутствовать на службе, но не мог поспеть, и потребовал отложить торжество на три дня. Ну не мог же Иоанн передвинуть святое Благовещение – даже ради самого светлейшего! Иоанн освятил храм, когда было должно. Меншиков обиделся, что Иоанн пренебрёг его указом, и нашептал царю: дескать, черниговский архиепископ – смутьян, тайный прихвостень Мазепы, не уважает царскую власть. И вскоре Иоанна отправили из Чернигова в Тобольск.

– А правду говорят, что ты напророчил светлейшему, будто он сам ещё дальше тебя в Сибирь уедет?

– А это уже сказки, – осторожно ответил Иоанн.

Не мог он сказать такое Меншикову. Для него грозить Меншикову было всё равно, что грозить царю. А царя он убоялся, потому что был Батурин.

В начале войны со шведом Иоанн встречался с Петром в Киеве, и Пётр Иоанну очень понравился: внимательный, тонкого ума, весёлый, деятельный и совсем простой, без чванства. Иоанн охотно предрёк этому славному царю победу. Однако в Киеве был один Пётр, а потом Иоанн узнал другого.

Осенью 1708 года гетман Мазепа переметнулся к королю Карлу XII и бежал вместе с казной запорожцев. Пётр был в бешенстве: он верил гетману как отцу родному, он повесил ему на грудь драгоценную цепь с орденом Андрея Первозванного, он казнил судью Ваську Кочубея за донос об измене гетмана, и вообще – Мазепа в те дни оставался единственным союзником Петра против Карла. И этот союзник, оказывается, предал и обещал врагу под зимние квартиры свою гетманскую столицу – город Батурин.

Пётр направил на Батурин корволант Меншикова. Для защиты города Мазепа оставил артиллерию и казаков-сердюков полковника Митьки Чечеля. Меншиков осадил город. Взять на приступ казацкую твердыню было весьма непросто, но помог предатель: старшина Ванька Нос указал проход в крепость. Драгуны светлейшего ворвались в Батурин. Дикий вопль взвился, наверное, до небесного Престола. Драгуны стреляли, рубили и кололи пиками всех подряд: сердюков, пушкарей, дворовых холопов Мазепы, простых казаков, лавочников, попов, мужиков, баб и детей. Многие жители бежали от русских через речку Сейм по тонкому ноябрьскому льду, но лёд подломился, и люди тонули толпами. Драгуны разграбили дворец Мазепы, лавки, дома и амбары, а потом подожгли город, заваленный окровавленными телами. Сгорело всё – и крепость, и усадьба гетмана, и божьи храмы, и хаты батуринцев. Города Батурин больше не было на земле. Вместо него дымилось огромное пепелище, где среди обугленных костей торчали закопчённые остовы печей и чёрные щётки кольев от черешневых садов. Такого с городом не сотворил бы ни шведский король Карл, ни польский король Станислав.

Иоанн не видел батуринского истребления, но видел то, что случилось в Глухове. В этот городишко Пётр перенёс гетманскую столицу и созвал сюда казачью знать и украинских иереев, чтобы они вручили гетманскую булаву полковнику Скоропадскому. Потом на площади Глу-

хова палачи казнили захваченных в плен батуриных старшин. Их мясничили невыносимо долго, и полковник Чечель всё кричал, кричал, кричал. Когда его отрубленную голову насадили на железную спицу, Иоанна потрясло безмерное блаженство на утихом лице Чечеля – наконец-то голову отняли от истерзанного тела.

А весной 1709 года Иоанн стоял в Чернигове на берегу Десны и смотрел, как река несёт выплывших из Сейма мертвецов Батурина: у мужиков торчали мокрые клинья бород, бабы лежали в ореоле распустившихся волос, а дети были коротенькие. Казалось, что поток утопленников – это какое-то жуткое переселение, потому что на тихой тёмной воде среди льдин и трупов покачивались вещи: шапки, женские расшитые платки, корзины, детские салазки, подушки. Беззвучное и слаженное движение долгого множества мертвецов завораживало, как зримое свидетельство могучих сил мироздания. Но господняя воля или дьяволов умысел привели эти силы в действие? Иоанн не знал. Конечно, царь – помазанник, и поэтому Иоанн будет славить царя в молитвах и сочинениях, как положено учёному архиерею, однако душа на явление этих сил не отзывалась радостью, молчала, как пленная. И увы: Иоанн не мог рассказать Филофею о своём смятении. Филофей не был свидетелем ужаса в Батурине и Глухове, он все события просидел в далёком сонном Тобольске. Ему не понять.

В трапезную заглянул парнишка-послушник.

– К тебе князь Матвей, владыка.

– Зови, Николка. Шубу у него в сенях прими.

Рослый и грузный Матвей Петрович занял собою весь дверной проём, и владыке на миг показалось, что это входит царь Пётр.

Иоанн, поднявшись, перекрестил князя, Филофей поклонился.

– Вот, господин губернатор, отче Филофей до тебя, – сказал Иоанн.

– Да уж вижу, – Гагарин опустился на лавку. – Жду, чем порадует.

– Подумал я, Матвей Петрович, и решил покориться воле государя, – сообщил Филофей. – Буду инородцев обращать. Об этом я владыке написал, а тебе хотел сам доложить, потому и приехал. Владыка уже благословил.

Иоанн кивнул.

– А здоровье твоё как? – Гагарин хитро прищурился.

– Кто умер на дороге, тот умер на дороге в рай, – Филофей спокойно улыбнулся. – Но тебе, губернатор, моя гибель обойдётся втридорога. Вот я уже и разметы набросал на первое плаванье до Берёзова.

Филофей распустил шнурок на рукаве рясы, вынул свёрнутые в трубку исписанные листы и протянул Гагарину. Матвей Петрович развернул свиток.

– Лучше на словах объясни, отче, – попросил он, оглядев бумаги.

– Мне нужны два дощаника с полной оснасткой, – начал Филофей по памяти, – сухарей четыре пуда, десять фунтов мяса, две чети муки, пять фунтов пороха, два фунта свинца, боченок дёгтя. Новокрещенам на подарки надобно двести аршин холста, сто рубах и штанов, сорок шапок, триста крестиков кипарисовых и триста рублей серебром, двадцать образов Спасителя, Богородицы и Николы Угодника. Всего на тысячу двести рублей.

Основательность Филофея произвела впечатление на Гагарина.

– Видно, добрым экономом ты в Лавре был, – сказал он с уважением.

– Туда в экономы дураков не берут, – неприязненно пробурчал Иоанн.

Ему не нравился Гагарин. Иоанн полгода приглядывался к губернатору, к его крепкой хозяйской хватке и снисходительному барскому добродушию, пытался понять, в чём же суть гагаринских перемен, и вдруг осознал, что в деяниях князя чует всё ту же бесчеловечную силу, которая влекла по вешней Десне трупы убиенных жителей Батурина. В Тобольске Иоанн надеялся укрыться от этой силы, но не удалось: Гагарин, Меншиков и Пётр – они одним миром

мазаны. И при Гагарине Иоанну хотелось то ли прижиматься к земле, как затравленному зайцу, то ли набрасываться, как псу на волка.

– Припасы – полдела, – продолжал Филофей. – Мне надобно, чтобы ты воеводе Толбузину в Берёзов отписал помогать мне. Всем новокрещенам он обязан простить все долги и на три года освободить от ясака.

– Придушу хапугу Агапошку, он запомнит, – кивнул Гагарин.

– В путь я возьму с собой пять братьев, шесть служилых и четырёх казаков. А командира для моей охраны мне владыка подобрал.

– Новицкий Григорий Ильич, ссыльный полковник, – сказал Иоанн.

Новицкого Иоанн заметил в церковном хоре на Софийском подворье. Голос у полковника был красивый, высокий, бабий, и пел Новицкий с душой, словно что-то изживал в себе страданием. Голосистых черкасов собрал в хор ещё Филофей, пока был митрополитом, а Иоанн поддержал начинание.

– Полковник? – удивился Гагарин. – Ссыльный? Не знаю такого. На кой бес он со шведами-то снюхался, что в ссылку угодил?

– Не со шведами, – глухо сказал Иоанн. – С Мазепой.

– С Мазепой? – с бесконечным презрением переспросил Гагарин.

Для Иоанна имя Мазепы было как удар плетью. Иоанн побледнел.

– С гетманом не одни иуды были, – с трудом произнёс он.

Матвей Петрович внимательно посмотрел на владыку.

– А кто ж ещё? – испытующе спросил он, чтобы Иоанн раскрылся.

Черниговский архиепископ Иоанн дружил с гетманом Мазепой, ездил к нему в гости во дворец в Батурин, благословлял гетмана на праздниках, освящал церкви, которые богатый гетман неумолимо строил по всем землям Украины. Всё, чем гордился Иоанн, было создано на деньги Мазепы: и типография-друкарня в Троицком монастыре под Дорогобужем, и сам черниговский Коллегиум. Иоанн учредил его по образцу могилянского в Киеве; по латыни и на польском там учили парубков грамматике, синтаксису, риторике и поэтике; Мазепа воздвиг для Коллегиума колокольню с храмом – восьмигранную, волнистую очерком, словно бы кудрявую.

А Филофей понял, что князь выворачивает владыку наизнанку.

– Разные люди от Мазепы страдали, Матвей Петрович, – рассудительно сказал Филофей. – При мне в Тобольске пять лет сидел ссыльный фастовский полковник Семён Палий, слышал о таком?

Палий дерзал освободить от ляхов правобережную Украину, искал помощи у Мазепы и Петра, но Мазепа приревновал полковника, казачьего любимца, и оговорил его перед царём, чтобы сечевики не выбрали Палия в гетманы. Пётр поверил Мазепе и сослал полковника в Сибирь. После измены Мазепы Пётр вспомнил про опального Палия и вернул его на родину. С Белоцерковским полком Палий дрался за царя под Полтавой.

– Слышал, – сказал Матвей Петрович.

Иоанн с ненавистью смотрел на губернатора. Хуже дружбы с Мазепой для него был только страх расплаты за эту дружбу. Иоанн понимал, что Мазепа – изменник царю, но вере православной Мазепа не изменял. Гетман просто ошибся: подумал, что Пётр проиграет войну, решил спасти Украину от шведского разорения и задружился с Карлом. А Пётр, истребив Батурин, притащил в Глухов трёх украинских иереев – бывших содружников гетмана: Иоанна, переяславского архиепископа и киевского митрополита. Пётр заставил иереев предать Мазепу анафеме. Потом на площади у Троицкого собора палач сорвал с чучела Мазепы «кавалерию с бантами» – ордена и ленты, и высек чучело гетмана плетью; соломенного Мазепу, обряженного в малиновый жупан с золотым кушаком и бобровый кобур с павлиньим пером, проволокли по улочкам Глухова и повесили.

Мазепа не остался в долгу, отомстил: он подстроил, что солдаты Петра поймали его казака с подложными письмами гетмана к тайным сторонникам – черниговскому архиепископу, глуховскому атаману и старшинам. Вот тогда страх смерти остудил Иоанна по-настоящему. Пётр быстро разобрался в обмане и не тронул тех, кого оговорил Мазепа, но душевный покой к архиепископу уже не вернулся. И дело не в том, что русский царь в любой миг и по любой прихоти мог его казнить. Иоанн впервые ощутил на собственной вые руку той бесчеловечной силы, которая двигала народы и царства. И разумом Иоанн соглашался, что сила права, но совесть восставала против несправедности, потому что в той воле не было благодати, и те, кто её исполнял, рушили божий порядок. Ведь и Мазепа согрешил, и Пётр, и он, Иоанн, что-то сделал не так, когда возгласил анафему гетману, от которого видел только добро. А правильного для всех решения тут не было и быть не могло. В душе Иоанна словно образовалась прореха; как открытая рана, она источала неутрачиваемую боль. Кто знает, что Иоанн увидит в дальнем мире сквозь эту прореху? А губернатор хотел засунуть в неё руку по локоть.

Матвей Петрович сразу уловил напряжённую злость владыки, удивился – и даже обрадовался, но не подал вида. К Мазепе и его измене Гагарин был совершенно равнодушен, а Иоанн, оказывается, переживал близко к сердцу. Это крючок, на котором он, губернатор, может держать владыку. Зачем ему нужно подцепить Иоанна, Матвей Петрович ещё не знал, но крючок всегда пригодится. Князь Гагарин был опытным царедворцем.

– Я тоже Мазепиной сажей мазан, – проскрипел Иоанн.

Но Матвей Петрович уже услышал всё, что хотел.

– Ладно, отцы, – покладисто сказал он. – Все мы тут грешники.

Часть вторая

Луна всех варваров

Глава 1

Пиетисты

Никто бы в Тобольске не отдал для шведов целую площадь, поэтому они собрались на пустыре за Казачьим взвозом. Четыре сотни каролинов – подданных короля Карла XII – неровными рядами расселись на крутом склоне Панина бугра, будто на ступенях древнего амфитеатра. На самом деле пленных шведов в Тобольске было куда больше – около тысячи, но не все смогли прийти. Зато те, кто пришёл, приготовились к празднику: солдаты и офицеры красовались в камзолах и шляпах с позументом, слуги повязали на локоть банты, женщины надели кружевные фартуки и чепцы с лентами. Сегодня был день рождения короля. Карлу XII исполнилось тридцать лет.

За Казачьим взвозом на обрыве белели зубчатые стены и квадратные башни Софийского двора – игрушечной крепости сибирского митрополита. Тёплый июньский ветер нёс по небу лёгкие облака, их тени беззвучно бежали по улицам и тесовым крышам русского города, по ровным зелёным откосам Алафейских гор; крепость то вспыхивала яркой белизной, то меркла, словно готовая исчезнуть. Вот так когда-нибудь исчезнут и узы плена, открывая каролинам свободную дорогу на родину. Но до этого надо было дожить.

Капитан Курт Фридрих фон Врех, ольдерман шведской общины в Тобольске, разглядывал лица своих товарищей с искренним сочувствием. Да, каролинам в русском плену пришлось нелегко. Но капитан приложит все силы, чтобы подданные короля не пали духом. Фон Врех гордился своим благородством в невзгодах. Маленький, толстенький и близорукий, он не мог проявить себя в битве, но мог показать свою стойкость в помощи ближним.

Капрал Брур Роламб, стихотворец общины, громко читал каролинам свою новую оду, сложенную к юбилею. Листок с текстом капрал держал в левой руке, а правой рукой широко взмахивал над головой. В одах господина Роламба всегда присутствовали коронованные львы, Юпитер, бури и молнии, гром пушек, грозные армии, сверкающие штыками, знамёна и победные литавры. Ротмистр Леонард Каг сидел поодаль от Роламба на стуле – многие офицеры принесли или привезли с собой стулья – и внимательно слушал, размышляя, стоит ли потом переписать эти стихи в дневник общины; ротмистр вёл дневник по поручению ольдермана. Фон Врех снял шляпу и в знак согласия со строфами кивал головой в потрёпанном парике. Офицеры понимали, как нужны простым людям эти неказистые вирши, и демонстрировали серьёзность. Офицеров в руководстве общины было около десятка; на собрание пришли полковник Арвид Кульбаш, капитаны Отто Стакелберг, Юхан Табберт и Хенрик Свенсон, лейтенанты Густав Горн, Петер Пальм и Юхан Матерн.

– Благодарю вас, господин капрал, – поднимаясь, сказал Роламбу фон Врех. – Мы все вас благодарим, – фон Врех подождал, пока Роламб отойдёт в сторону, и обратился ко всем: – Дорогие мои друзья! В этот счастливый июньский день я собрал вас не только для того, чтобы разделить радость от августейшего юбилея, но и для того, чтобы поделиться новостью, которая согреет наши сердца. Из Фельдт-комиссариата мне переслали письмо от профессора Августа Франке, духовного отца нашей общины!..

Делами пленных шведов занимался Фельдт-комиссариат в Москве, в Немецкой слободе. Возглавлял его старый граф Карл Пипер, глава походной канцелярии короля Карла; он попал в плен под Полтавой. Через Фельдт-комиссариат в глубины России поступали деньги для плен-

ных: половинное жалованье от риксдага, вспомоществование от родственников, ссуды от принцессы Ульрики Элеоноры и благотворителей из вельмож.

Денег всегда не хватало, и капитан фон Врех нашёл ещё один источник финансовой поддержки. Родовое поместье фон Врехов нуждалось в хорошем управляющем, поэтому фон Врех, заботливый отец, ещё до войны с Россией отправил сына получать образование в город Галле в Пруссии, в педагогийум профессора Августа Франке. Дети занимались там круглый день, ходили в синих мундирчиках, не имели глупых развлечений, выходных и вакаций, росли послушными, набожными и трудолюбивыми, а выпускники хорошо разбирались в хозяйстве и ремёслах. Причиной таких успехов было учение пиетизма, которому следовал профессор Франке.

В Галле Курт фон Врех ознакомился с основами этого учения, и, когда судьба забросила его в Тобольск, фон Врех понял, что пиетизм весьма подходит для выживания в плену, позволяя сохранять благочестивый образ мысли и вести добродетельный образ жизни. Фон Врех написал письмо в университет Галле, где профессор Франке преподавал восточные языки, сообщив, что тобольская община шведских военнопленных для своего устава решила взять за образец принципы пиетизма; не сможет ли могущественная пиетистская школа господина Франке помочь единомышленникам деньгами и мудрым руководством? Через год из университета Галле пришли посылка с книгами и денежный перевод. Переводы от профессора стали регулярными.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.